

ЛЕГЕНДЫ ХОРРОРА

18+

КЛАЙВ БАРКЕР

ПРОКЛЯТАЯ  
ИГРА



Легенды хоррора

Клайв Баркер

# **Проклятая игра**

«Издательство АСТ»

1985

УДК 821.111  
ББК 84(7Coe)

**Баркер К.**

Проклятая игра / К. Баркер — «Издательство АСТ»,  
1985 — (Легенды хоррора)

ISBN 978-5-17-133692-9

Боксер Марти Штраус выходит из тюрьмы и становится телохранителем таинственного магната Джозефа Уайтхеда. Невезучий игрок, Штраус думает, что его ставка в конце концов сыграла и теперь жизнь пойдет на лад, но не знает одного: всем своим состоянием и властью новый босс Марти обязан партии в карты, сыгранной в разрушенной немцами Варшаве, в которой он поставил на кон собственную душу. И теперь должен вернуть долг, а тот, кто пришел за Уайтхедом, обладает воистину зловещей силой: он способен воскрешать мертвых и не остановится ни перед чем. Попав между двух огней, между пламенем преисподней и гневом одного из самых богатых людей Европы, Штраус начинает последнюю отчаянную игру на выживание, еще не понимая, к каким кошмарам она его приведет.

УДК 821.111

ББК 84(7Coe)

ISBN 978-5-17-133692-9

© Баркер К., 1985  
© Издательство АСТ, 1985

# Содержание

Благодарности	6
Часть первая	7
1	7
2	10
3	13
4	14
Часть вторая	18
I. Провидение	18
5	18
6	22
7	25
8	27
9	28
II. Лис	31
10	31
11	35
12	37
13	40
14	43
15	48
16	52
17	56
III. Последний европеец	58
18	58
19	60
20	63
IV. Танец скелетов [8]	65
21	65
22	67
23	70
Конец ознакомительного фрагмента.	72

# **Клайв Баркер**

## **Проклятая игра**

*Посвящается J. R. G.*

Copyright © 1985 by Clive Barker

© Наталия Осяну, перевод, 2021

© Сергей Неживясов, иллюстрация, 2021

© ООО «Издательство АСТ», 2021

## Благодарности

Я благодарен Мэри Роско, которая неустанно трудилась, печатая эту рукопись, и все-таки нашла время предложить по ходу дела множество обоснованных поправок; и Дэвиду Т. Каннингему, который напечатал несколько дополнений, случившихся позже. Из читателей, чьи энтузиазм и озарения были ценны, должен сказать спасибо Джули Блейк, Джону Грегсону и Вернону Конвею. Я также признателен Дугласу Беннету, устроившему для меня незабываемый тур по тюрьмам, и Аласдеру Кэмерону, заказавшему две пьесы, тем самым позволив мне пополнить запас спагетти, пока я работал над книгой. И, наконец – упоминание в финале никоим образом не отражает ценность вклада – спасибо Барбаре Бут и Нэнн дю Сутуа из «Sphere Books».

*И только смерть, изменчивость и случай  
Останутся последнею границей...*

***П. Б. Шелли. Освобожденный Прометей*<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> Перевод К. Бальмонта.

## Часть первая Terra Incognita

*Ад – обиталище для тех, кто отрицает.  
Они пожнут плоды того, что посадили  
У Озера Пространств, и в Чаще Пустоты —  
Скитаются и бродят души там и никогда  
не прекратят  
Оплакивать свое существование.*

*У. Б. Йейтс. Песочные часы <sup>2</sup>*

### 1

Воздух был наэлектризован в тот день, когда вор пересек город, уверенный, что сегодня вечером, после стольких бестолковых недель, он наконец отыщет картежника. Путешествие оказалось не из легких: восемьдесят пять процентов Варшавы сровняли с землей либо в ходе многомесячных минометных обстрелов, предшествовавших освобождению города русскими, либо в результате программы сноса, которую нацисты затеяли перед отступлением. Несколько городских секторов стали практически непроходимы для транспорта. Горы щебня – по-прежнему лелеющие мертвых, как луковицы, готовые прорасти, когда по весне станет теплее, – преграждали улицы. Даже в более доступных районах некогда элегантные фасады опасно накренились, а их фундаменты издавали рокошующие звуки.

Но вор занимался здесь своим ремеслом уже почти три месяца и привык ориентироваться в одичалом городе. Он даже наслаждался унылым великолепием: панорамами, окрашенными в сиреневый цвет пылью, которая все еще оседала из стратосферы; площадями и аллеями, погруженными в неестественную тишину; ощущением, что так и будет выглядеть конец света, возникавшим у него, когда он сюда вторгся. Иногда днем попадались уцелевшие ориентиры – одинокие указатели, которые со временем демонтируют, – позволяющие страннику наметить маршрут. Газоперерабатывающий завод рядом с мостом Понятовского был узнаваем, как и зоопарк на другом берегу реки; часовая башня Центрального вокзала демонстрировала верхушку, хотя часы давно исчезли. Эти и несколько других испещренных оспинами останков городской красоты Варшавы уцелели, их трепетное присутствие даже у вора вызывало чувство горечи.

Это не его дом – дома у него нет лет десять. Он был кочевником и питался падалью, а Варшава на короткое время предоставила ему достаточно добычи, чтобы здесь задержаться. Скоро, когда он восстановит силы, истощенные в недавних странствиях, придет пора двигаться дальше. Но сейчас в воздухе витают первые признаки весны, и он не спешит покидать эти места, наслаждаясь городской свободой.

Конечно, опасности существуют, но где их нет для человека его профессии? Военные годы отшлифовали его инстинкт самосохранения до такой степени, что он почти ничего не боялся. Здесь он был в большей безопасности, чем истинные жители Варшавы – те немногие, сбитые с толку и выжившие после бойни, которые тонкими струйками начали просачиваться обратно в город, ища утраченные дома и исчезнувшие лица. Они копались в руинах или сто-

---

<sup>2</sup> Перевод Г. Мельнищера.

яли на пересечении улиц, слушая погребальную песнь реки, и ждали, когда русские скрутят их во имя Карла Маркса. Каждый день строились новые баррикады. Военные медленно, но методично восстанавливали некоторый порядок в этом хаосе, разделяя и подразделяя город, что со временем предстояло пережить и всей стране. Однако комендантский час и контрольно-пропускные пункты едва ли могли стать преградой для вора. В подкладке своего хорошо сшитого пальто он хранил всевозможные удостоверения личности – некоторые поддельные, большинство украденные, – для любой ситуации находилось подходящее. Недостаточную надежность бумаг он восполнял остроумиями и сигаретами, которыми располагал в изобилии. Они были всем, что требовалось человеку – в этом городе, в этом году, – чтобы чувствовать себя владыкой всего сущего.

И какого сущего! Здесь ни одна склонность или причуда не остались бы неудовлетворенными. Глубочайшие тайны тела и духа были доступны каждому, кто жаждал таковые узреть. Их превращали в игры. Только на прошлой неделе вор слышал рассказ о молодом человеке, затевавшем древнюю игру в наперстки (вот шарик есть, а вот – его нет), но с остроумием безумца воспользовавшемся тремя ведрами и головой ребенка.

Но это еще ладно: ребенок умер, а мертвые не страдают. В городе были и другие развлечения за деньги – наслаждения, сырьем для которых становились живые. Для тех, кто жаждал и платил за вход, началась торговля человеческой плотью. Оккупационная армия, больше не отвлекаясь на сражения, заново открыла для себя секс, и это оказалось выгодно. За полбуханки хлеба можно было купить одну из девушек-беженек – многие были такими юными, что потискать нечего, – воспользоваться ею снова и снова под прикрытием темноты, не обращая внимания на протесты, а то и заглушив их штыком, когда занятие утратит прелесть. На такие небрежные убийства смотрели сквозь пальцы в городе, где погибли десятки тысяч. На несколько недель – между одним режимом и другим – все сделалось возможным: ни один проступок не удостоивался наказания, ни одна разновидность порока не была табуирована.

В Золибоже открылся бордель с мальчиками. Здесь, в подпольном салоне, увешанном добытыми в руинах картинами, можно было выбрать любого из птенчиков шести-семи лет от роду, соблазнительно исхудалых от недоедания и с тугими попками, на радость ценителя. Местечко было очень популярно среди офицеров, но вор слышал ропот: дескать, для младших чинов дороговато. Ленинские принципы равных возможностей для всех, похоже, педерастию не затрагивали.

Определенные виды спорта были дешевле. Собачьи бои пользовались особым успехом в этом сезоне. Бездомных псов, которые вернулись в город, чтобы пожрать мясо своих хозяев, отлавливали, выкармливали до бойцовской мощи и скармливали насмерть. Зрелище было жуткое, но любовь к ставкам вынуждала вора снова и снова возвращаться на бои. Однажды вечером он неплохо заработал, поставив на низкорослого, но хитрого терьера, который победил кобеля в три раза крупнее, отгрызя ему яички.

Для тех, кому собаки, мальчики или женщины через некоторое время надоедали, имелись более эзотерические развлечения.

В руинах оплота Пресвятой Девы Марии, отдаленно напоминающих амфитеатр, вор видел, как неизвестный актер в одиночку исполнял «Фауста» Гёте, части первую и вторую. Хотя немецкий язык вора был далек от совершенства, представление произвело на него неизгладимое впечатление. История вполне знакомая, чтобы следить за ходом событий, – договор с Мефистофелем, споры и колдовские фокусы, а затем, с приближением обещанного проклятия, отчаяние и ужас. Большую часть прений разобрать не удалось, но актер так вошел в обе роли – становился то искусителем, то искушаемым, – что вор покинул представление с взволнованным сердцем.

Через два дня он вернулся, чтобы еще раз посмотреть пьесу или, по крайней мере, поговорить с актером. Но выход на бис не состоялся. Энтузиазм исполнителя относительно Гете



был истолкован как нацистская пропаганда: вор, чье радостное предвкушение увяло, обнаружил его повешенным на телеграфном столбе. Актер был голый. Босые ступни обглоданы, глаза выклеваны птицами, торс изрешечен пулями. Зрелище вызвало у вора умиротворение. Он увидел в этом доказательство того, что смятенные чувства, порожденные актером, несли в себе изъясн: если искусство довело его до такого состояния, он – явно негодяй и мошенник. Рот актера был разинут, но птицы отняли у него язык, как и глаза. Не велика потеря.

Кроме того, имелись более стоящие забавы. Женщинами вор не особенно увлекался, мальчики были не в его вкусе, а вот азартные игры любил, как и прежде. Так что он возвращался к собачьим боям, желая попытать счастья со ставкой на какую-нибудь дворнягу. Если не туда, то в одну из казарм, чтобы сыграть в кости или – в отчаянии – заключить пари со скучающим часовым на скорость пролетающего облака. Метод и частности его почти не интересовали: главное – сделать ставку. С юности это был его единственный истинный порок; он стал вором, чтобы добывать средства для потворства своей слабости. До войны он играл в казино по всей Европе, отдавая предпочтение *chemin de fer* – французской версии баккара, хотя не возражал и против рулетки. Теперь он оглядывался на те годы сквозь окутавшую их завесу войны и вспоминал состязания как сны наяву: что-то невозвратимое и ускользающее с каждым вздохом.

Однако чувство утраты изменилось, когда он услышал о картежнике – Мамуляне, как его называли, – который, по слухам, никогда не проигрывал, появлялся и исчезал в этом обманчивом городе, будто существо, вероятно не являвшееся реальным.

Так или иначе, после Мамуляна все изменилось.

## 2

Такие ходили слухи, и многие из них не были основаны на истине. Обычные байки скачующих солдат. Вор обнаружил, что военный ум способен на вымысел причудливей любых поэтических измышлений, к тому же он более смертоносный.

Поэтому, услышав историю о великом шулере, появлявшемся ниоткуда и вызывавшем каждого любителя карточной игры на поединок, чтобы его непременно обыграть, вор заподозрил, что этот рассказ – то, чем кажется: байка. Но нежелание этой апокрифической повести исчезать шло вразрез с ожиданиями. Она не померкла, уступив место еще более курьезной небывальщине, а появлялась снова и снова: в пересудах мужчин на собачьих боях, сплетнях и граффити. Более того, хотя имена менялись, главные факты оставались неизменными от рассказа к рассказу. Вор начал подозревать, что в этой истории есть доля правды. Возможно, в городе действовал блестящий игрок. Конечно, он не обладает абсолютной неуязвимостью; таких не бывает. Но этот человек, если он существовал, представлял собой нечто особенное. Разговоры о нем всегда велись с осторожностью, похожей на благоговение; солдаты, утверждавшие, что видели игру, говорили о его элегантности и почти гипнотическом спокойствии. Рассказывая о Мамуляне, они выглядели крестьянами, говорящими о знати, и вор, никогда не признававший чье-либо превосходство, добавил страстное желание свергнуть этого короля к списку причин, по которым искал картежника.

Помимо общей картины, почерпнутой из слухов, деталей было маловато. Вор знал, что придется найти и допросить человека, который действительно столкнулся с этим образцом совершенства за игорным столом, прежде чем он сможет отделить правду от вымысла.

На поиски такого человека ушли две недели. Звали его Константин Васильев: младший лейтенант, который, как говорили, потерял все, что имел, играя против Мамуляна. Русский был массивным как бык, и вор чувствовал себя рядом с ним карликом. Но если некоторые крупные мужчины взращивают в себе дух, достаточно обширный, чтобы заполнить их анатомию, то Васильев казался почти пустым. Если он когда-либо и обладал такой мужественностью, теперь она исчезла. В этой скорлупе остался хрупкий и беспокойный ребенок.

Потребовался час уговоров, значительная часть бутылки водки с черного рынка и полпачки сигарет, чтобы заставить Васильева ответить более чем односложно. Но когда начались разоблачения, они хлынули потоком – признания человека на грани полного срыва. В его словах звучала жалость к самому себе, а также гнев, но больше всего в них чувствовалось зловоние страха. Васильев был человеком в состоянии смертельного ужаса. На вора это произвело сильное впечатление: не слезы и не отчаяние, а то, что Мамулян, безликий игрок в карты, сломал великана, сидевшего напротив. Под видом утешения и дружеских советов он принялся выкачивать из русского всю информацию до крупы, которую тот мог предоставить, постоянно выискивая существенные детали, чтобы придать плоть и кровь химере, которую он пытался разыскать.

– Ты говоришь, что он всегда выигрывает в обязательном порядке?

– Всегда.

– И каков его метод? Как он жульничает?

Васильев оторвался от созерцания голых досок пола.

– Жульничает? – недоверчиво спросил он. – Мамулян не жульничает. Я играл в карты всю жизнь, с лучшими и худшими. Я видел все уловки, на которые способен человек. И я тебе говорю: он был чист.

– Самый удачливый игрок время от времени терпит поражение. Законы случая...

На лице Васильева промелькнуло выражение невинного веселья, и на мгновение вор увидел человека, который занимал эту крепость до того, как потерял рассудок.

– Законы случая для него ничто. Неужели ты не понимаешь? Он не такой, как мы с тобой. Как может человек всегда выигрывать, не имея власти над картами?

– Ты в это веришь?

Васильев пожал плечами и опять ссутулился.

– Для него, – проговорил он в крайнем смятении, почти задумчиво, – победа – это красота. Как сама жизнь.

Пустые глаза вернулись к грубым половицам, а вор прокручивал в голове слова: «Победа – это красота. Как сама жизнь». Это были странные слова, ему стало не по себе. Но прежде чем он успел вникнуть в смысл сказанного, Васильев наклонился, испуганно дыша, и схватил вора за рукав.

– Я подал заявление на перевод, тебе сказали? Через несколько дней я уеду отсюда, и никому это не послужит уроком. Я получу медали, когда вернусь домой. Вот почему меня переводят: я – герой, а герои получают то, о чем просят. Я уеду отсюда, и он никогда меня не найдет.

– А зачем ему это нужно?

Рука на рукаве сжалась в кулак; Васильев притянул вора к себе.

– Я задолжал ему последнюю рубашку, – сказал он. – Если останусь, он прикажет убить меня. Он убивал других, если не собственными руками, то руками своих товарищей.

– Он не один? – сказал вор. Он представлял себе картежника человеком без союзников; фактически, создал его по своему образу и подобию.

Васильев высморкался в ладонь и откинулся на спинку стула. Тот заскрипел под его тяжестью.

– Кто знает, что здесь правда, а что ложь? – сказал он, и его глаза наполнились слезами. – Я имею в виду, что, если скажу тебе, что с ним были мертвецы, ты поверишь? – Он сам ответил на свой вопрос, покачивая головой: – Нет. Ты подумаешь, что я сошел с ума...

Когда-то, подумал вор, этот человек был способен на уверенность, действие, вероятно, даже на героизм. Теперь всю эту благородную чепуху из него выкачали: чемпион превратился в соплившую тряпку, болтающую чепуху. Он мысленно аплодировал блестящей победе Мамуляна. Он всегда ненавидел героев.

– Последний вопрос... – начал он.

– Хочешь знать, где его можно найти.

– Да.

Русский уставился на подушечку большого пальца и глубоко вздохнул. Все было так утомительно.

– Чего ты добьешься, если сыграешь с ним? – спросил он и снова ответил: – Только унижения. Возможно, смерти.

Вор встал.

– Значит, ты не знаешь, где картежник? – сказал он, собираясь положить в карман полупустую пачку сигарет, лежавшую на столе между ними.

– погоди. – Васильев потянулся к пачке, прежде чем та скрылась из вида. – погоди.

Вор положил сигареты обратно на стол, и Васильев собственнически прикрыл их ладонью. Он говорил, не сводя глаз с собеседника.

– В последний раз, когда я о нем слышал, это было к северу отсюда. На Мурановской площади. Знаешь такое место?

Вор кивнул. Не тот край, куда ему нравилось наведываться, но он знал те места.

– А как я его найду, когда туда доберусь?

Этот вопрос озадачил русского.

– Я не знаю, как он выглядит, – попытался объяснить вор.

– Тебе не придется его искать, – ответил Васильев, слишком хорошо все понимая. – Если он захочет, чтобы ты играл, сам тебя найдет.

## 3

На следующую ночь, первую из многих подобных ночей, вор отправился на поиски картежника. Хотя был апрель, погода в тот год еще стояла суровая. Он вернулся в свой номер в полуразрушенном отеле, который занимал, оцепенев от холода, разочарования и – хотя он едва ли признавался в этом даже самому себе – страха. Район вокруг Мурановской площади был адом внутри ада. Многие воронки от бомб здесь выходили в канализацию: зловоние ни с чем не перепутаешь. Другие, использовавшиеся в качестве костровых ям для кремации казненных граждан, периодически вспыхивали, когда пламя находило живот, раздутый газом, или скопище человеческого жира. Каждый шаг, сделанный в этой доселе неведомой стране, был приключением даже для вора. Смерть в своих многочисленных обликах поджидала всюду. Сидела на краю кратера, согревала ноги в пламени; стояла как лунатик посреди отбросов; играла, смеясь, в саду из костей и шрапнели.

Несмотря на страх, он несколько раз возвращался в этот район, но картежник ускользал от него. С каждой неудавшейся попыткой, с каждым путешествием, заканчивавшимся поражением, погоня сильнее занимала мысли вора. В его сознании этот безликий игрок начал приобретать силу сродни легендарной. Просто увидеть человека во плоти, убедиться в его физическом существовании в том же мире, который занимал он, вор, стало символом веры. Средством – да поможет ему Бог! – с помощью которого он мог бы утвердить собственное существование.

После полутора недель бесплодных поисков он вернулся, чтобы найти Васильева. Русский умер. Его тело с перерезанным от уха до уха горлом нашли накануне, плавающим лицом вниз в одной из канализационных труб, которые армия прочищала в варшавском районе Воля. Он был не один. С ним еще три трупа, и все убитые таким же образом, все подожженные и горящие, как погребальные ладьи, дрейфующие в туннеле по реке экскрементов. Один из солдат, который был в канализации, когда появилась флотилия, сказал вору, что тела будто парили в темноте. Одно мгновение, захватывающее дух, это походило на неизбежное приближение ангелов.

Потом, конечно, настал черед ужаса. Горящие трупы потушили – их волосы, спины; перевернули, и луч фонарика осветил лицо Васильева, на котором застыло изумление. Он был похож на ребенка, потрясенного смертельно опасным фокусом.

Документы о его переводе прибыли к концу того же дня.

Бумаги, похоже, стали причиной административной ошибки, которая завершила трагедию Васильева на комической ноте. Опознанные тела похоронили в Варшаве, за исключением младшего лейтенанта Васильева, чье военное прошлое требовало менее небрежного обращения. Планировалось перевезти тело в Россию-матушку, где герой будет похоронен с государственными почестями в родном городе. Но кто-то случайно наткнулся на бумаги о переводе и применил их к мертвому Васильеву, а не к живому. Тело загадочным образом исчезло. Никто не хотел брать на себя ответственность: труп просто отправили на новое место службы.

Смерть Васильева только усилила любопытство вора. Высокомерие Мамуляна завораживало. Это был падальщик, человек, зарабатывавший на жизнь слабостью других, который так обнаглел от успеха, что осмеливался убивать – или ради него убивали – тех, кто переходил ему дорогу. Вор трепетал от нетерпения. Во сне, когда удавалось заснуть, он бродил по Мурановской площади. Ее затягивал туман, напоминающий живое существо, он обещал в любой момент разделить и раскрыть картежника. Вор как будто влюбился.



## 4

Этим вечером купол неряшливых облаков над Европой раскололся: синева, хоть и бледная, расплзалась над головой, все шире и шире. Теперь, в преддверии ночи, небо было совершенно чистым. На юго-западе огромные кучевые облака, похожие на подкрашенную охрой и золотом цветную капусту, набухали грозой, но мысль об их гневе только возбуждала его. Сегодня воздух был наэлектризован, и вор не сомневался, что найдет картежника. Он был уверен в этом с самого утра, когда проснулся.

С приближением темноты он отправился на север, к площади, почти не думая о том, куда идет, – до того знакомый был маршрут. Он прошел через два контрольно-пропускных пункта, и никто его не окликнул: уверенная походка в достаточной степени заменяла пароль. Сегодня он был неотвратим. На его место здесь, где в сиреновом воздухе витали ароматы, а звезды мерцали в зените, никто не смел посягнуть. Он почувствовал, как искры статического электричества пробежали по волоскам на тыльной стороне ладони, и улыбнулся. Он увидел человека с чем-то неузнаваемым в руках, кричащего у окна, и улыбнулся. Неподалеку Висла, разбухшая от дождей и талого снега, с ревом неслась к морю. Он был в той же степени неукротим.

Золото исчезло из кучевых облаков, прозрачная синева потемнела к ночи.

Когда он собирался выйти на Мурановскую площадь, что-то мелькнуло впереди, порыв ветра пронесся мимо, и воздух внезапно наполнился белым конфетти. Не может быть, чтобы здесь устроили свадьбу? Один из кружащихся фрагментов застрял у него на реснице, и он сорвал его. Это было не конфетти, а лепесток. Он зажал его между большим и указательным пальцами. Из разорванного лепестка сочилось ароматное масло.

В поисках источника вор прошел еще немного и, свернув за угол, обнаружил на площади висящий в воздухе призрак огромного цветущего дерева. Его корни не уходили в землю, заснеженную крону озарял свет звезд, ствол был темным. Вор затаил дыхание, потрясенный красотой, и подошел к дереву, словно к дикому зверю, осторожно, на случай, если оно испугается. Что-то у него внутри перевернулось. Это не было благоговение перед цветением или остатки радости, которую он чувствовал, идя сюда. Радость ускользала. Здесь, на площади, его охватило совсем другое чувство.

Он настолько привык к жестокостям, что давно считал: ничто не заставит его побледнеть. Так почему он стоял сейчас в нескольких футах от дерева, в тревоге сжимая кулаки, так, что тщательно ухоженные ногти впились в ладони, и не отважился заглянуть под зонтик из цветов, где могло скрываться худшее? Здесь нечего было бояться. Только лепестки в воздухе, тень на земле. И все же он дышал неглубоко, надеясь вопреки всему, что его страх беспочвенный.

«Ну же, – подумал он, – если ты хочешь мне что-то показать, я жду».

По его молчаливому приглашению произошли две вещи. За спиной раздался гортанный голос:

– Ты кто? – спросили по-польски.

От неожиданности он на кратчайший миг отвлекся, его глаза потеряли фокус на дереве, и тут же из-под отяжелевших от цветов ветвей вынырнула фигура, сутулясь в свете звезд. В обманчивом мраке вор не был уверен, что видит: вероятно, похожее на маску лицо, безучастно смотрящее в его сторону, опаленные волосы. Покрытую струпами тушу, массивную, как у быка. Огромные лапищи Васильева.

Всё или ничего из этого; фигура уже скрывалась за деревом, ветви касались израненной головы на ходу. На его угольно-черные плечи падал мелкий дождик лепестков.

– Ты меня слышишь? – сказал голос у него за спиной. Вор не обернулся. Он продолжал смотреть на дерево, прищурившись и пытаясь отделить материю от иллюзии. Но человек, кем бы он ни был, исчез. Конечно, это не мог быть русский: разум восставал против такого. Васи-

льев мертв: его нашли лежащим лицом вниз в грязи канализации. Тело, вероятно, было на пути к какому-нибудь отдаленному форпосту Российской империи. Здесь его нет, он не мог находиться здесь. И все же вор чувствовал настоятельную потребность догнать незнакомца, похлопать по плечу, заставить обернуться, посмотреть ему в лицо и убедиться, что это не Константин. Но было слишком поздно: тот, кто задавал вопросы, яростно схватил его за руку и требовал ответа. Ветви дерева больше не дрожали, лепестки перестали осыпаться, человек ушел.

Вздохнув, вор повернулся.

Фигура перед ним приветливо улыбалась. Это была женщина, несмотря на скрипучий голос; одетая в широкие брюки, перевязанные веревкой, но в остальном

голая. Ее голова была обрита, ногти на ногах покрыты лаком. Он воспринял все это обостренными чувствами – потрясение, вызванное деревом и приятной глазу наготой женщины, не проходило. Блестящие округлости груди были совершенны. Он почувствовал, как разжимаются кулаки, а ладони покалывает от желания прикоснуться к ним. Но, возможно, его оценка ее тела была слишком откровенной. Он снова взглянул ей в лицо, желая убедиться, что она еще улыбается. Так и было; но на этот раз его взгляд задержался на ее лице, и вор понял, что видит не улыбку, а застывшую навеки гримасу. Ее губы были срезаны, обнажая десны и зубы. На щеках виднелись ужасные шрамы и следы ран, которые разорвали сухожилия и сотворили оскал. От лика этой женщины он пришел в ужас.

– Ты хочешь... – начала она.

«Хочешь?» – подумал вор, снова переводя взгляд на грудь. Ее небрежная нагота возбуждала, несмотря на изуродованное лицо. Ему была отвратительна сама мысль о том, чтобы взять ее, – целовать безгубый рот казалось слишком высокой платой за оргазм, – и все же, если бы она предложила, он согласился бы, и будь проклято отвращение.

– Ты хочешь... – Она снова заговорила невнятным гибридным голосом, не мужским и не женским. Ей было трудно складывать и произносить слова без помощи губ. Тем не менее она задала остальную часть вопроса. – Ты хочешь карты?

Он совершенно упустил главное. У нее не было к нему никакого интереса, сексуального или иного. Она была просто посыльным. Мамулян здесь! Вероятно, до него рукой подать. Возможно, шулер наблюдал за воров прямо в этот момент.

Но смятение чувств затмило восторг, который вор должен был испытывать. Вместо триумфа он ощутил, как противоречивые образы атакуют разум: цветок, грудь, темнота; обожженное лицо мужчины, повернувшееся к нему на слишком краткий миг; похоть, страх; одинокая звезда, появляющаяся из-за края облака. Едва думая о том, что говорит, он ответил:

– Да. Мне нужны карты.

Она кивнула, отвернулась от него, прошла мимо дерева, ветви которого все еще качались там, где их коснулся человек, который не был Васильевым, и пересекла площадь. Вор последовал за ней. Можно было забыть лицо посредницы, глядя на грацию ее босых шагов. Похоже, ей все равно, на что наступать. Она ни разу не дрогнула, несмотря на осколки стекла, кирпича и шрапнель под ногами.

Она подвела его к развалинам большого дома на противоположной стороне площади. Изувеченный фасад, некогда внушительный, все еще держался; в нем был даже дверной проем, хотя и без двери. Сквозь него мерцал свет костра. Щебень из внутренних помещений просыпался через дверной проем и блокировал нижнюю половину, вынуждая женщину и вора пригнуться и вскарабкаться в сам дом. В темноте рукав его пальто за что-то зацепился, и ткань порвалась. Посредница не обернулась, чтобы посмотреть, не ранен ли спутник, хотя вор громко выругался. Она просто вела его через груды кирпичей и упавших балок крыши, а он ковылял следом, чувствуя себя до смешного неуклюжим. При свете костра он мог оценить размеры внутреннего помещения; когда-то это был прекрасный особняк. Однако времени на изучение окрестностей оставалось мало. Женщина уже миновала костер и пробиралась к лестнице. Вор

последовал за ней, обливаясь потом. Костер зашипел; он оглянулся и увидел кого-то на дальней стороне, скрывшегося за пламенем. Пока вор смотрел, сидящий у огня подбросил топлива, и созвездие багровых крапинок взлетело к небесам.

Женщина поднималась по лестнице. Он спешил за ней, и его тень, отбрасываемая огнем, казалась огромной на стене. Посредница была на верхней ступеньке лестницы, когда вор одолел лишь половину, а затем проскользнула во второй дверной проем и исчезла. Он последовал за ней так быстро, как мог, и вошел следом.

Свет от костра урывками проникал в комнату, и поначалу вор едва мог что-либо разглядеть.

– Закрой дверь, – попросил кто-то. Вору потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что просьба обращена к нему. Он повернулся и попытался нащупать ручку, обнаружил, что ее нет, и захлопнул дверь на ноющих петлях.

Покончив с этим, вор снова повернулся к тьме, царящей в комнате. Женщина стояла в двух или трех ярдах, обратив к нему вечно смеющееся лицо. Ее улыбка выглядела серым полумесяцем.

– Твое пальто, – сказала она и протянула руки, чтобы помочь его снять. Затем она вышла из поля зрения вора – зато появился объект его долгих поисков.

Поначалу внимание вора привлек не Мамулян, а резной деревянный алтарь, установленный вдоль дальней стены, – готический шедевр, который даже в полумраке сверкал золотом, алым и синим. Военная добыча, подумал вор; так вот, что этот ублюдок делает со своим состоянием. Теперь он устремил взгляд на человека перед триптихом. Одиноким фитиль, погруженный в масло, дымно горел на столе, за которым сидел картежник. На его лице беспокойно плясали яркие блики.

– Итак, пилигрим, – сказал этот человек, – ты нашел меня. Наконец-то.

– Разумеется, это ты нашел *меня*, – ответил вор; все случилось, как и предсказывал Васильев.

– Я слышал, ты хочешь сыграть пару партий. Это правда?

– Почему бы нет? – Он старался говорить как можно беззаботнее, хотя его сердце отбивало в груди нервную барабанную дробь. Оказавшись в присутствии картежника, он почувствовал себя совершенно неподготовленным. Волосы от пота прилипли ко лбу, на руках осела кирпичная пыль, под ногтями – грязь. «Я наверняка выгляжу, – подумал он с кривой ухмылкой, – как вор, которым и являюсь».

Мамулян же, напротив, был воплощением благопристойности. В его скромной одежде – черный галстук, серый костюм – не было ничего, что указывало бы на спекулянта: он, эта легенда, выглядел словно биржевой маклер. Его лицо, как и наряд, было беспардонно заурядным; черты, туго обтянутые гладкой кожей, казались восковыми в безжалостном свете масляного пламени. На вид ему было лет шестьдесят или около того, щеки слегка впалые, нос крупный, аристократический, лоб широкий и высокий. Линия роста волос отодвинулась к затылку; уцелевшая шевелюра выглядела легкой словно пух и белой. Но в его позе не было ни чахлости, ни утомления. Он выпрямился в кресле, и его проворные руки с любовной фамильярностью развернули веером и собрали колоду карт. Только глаза были такими,

какими их представлял себе вор. Ни у одного биржевого маклера никогда не было такого пронзительного взгляда. Таких ледяных, неумолимых глаз.

– Я надеялся, что ты придешь, пилигрим. Рано или поздно, – сказал Мамулян. По-английски он говорил монотонно.

– Я опоздал? – полушутя спросил вор.

Мамулян положил карты на стол. Похоже, он отнесся к его вопросу вполне серьезно.

– Посмотрим. – Он помедлил, прежде чем продолжить: – Ты, конечно, знаешь, что я играю по очень высоким ставкам.

– Наслышан.

– Если захочешь уйти сейчас, прежде чем мы двинемся дальше, я пойму. – Маленькая речь была произнесена без тени иронии.

– Разве ты не хочешь, чтобы я играл?

Мамулян сжал тонкие сухие губы и нахмурился.

– Напротив, – сказал он, – я очень хочу, чтобы ты играл.

Вор почувствовал намек – или все-таки показалось? – на пафос. Он не понял, была это оговорка или самый изысканный из театральных приемов.

– Но я лишен сочувствия... к тем, кто не платит долги.

– Ты имеешь в виду лейтенанта, – рискнул предположить вор.

Мамулян уставился на него.

– Я не знаю никакого лейтенанта, – проговорил он ровным голосом. – Я знаю только таких же игроков, как я сам. Некоторые из них хороши, большинство – нет. Они все приходят сюда, чтобы испытать свою храбрость, как и ты.

Он снова взял колоду; она двигалась в его руках, словно карты были живыми. Пятьдесят два мотылька трепетали в тошнотворном свете, и каждый помечен слегка иначе, чем предыдущий. Они были почти неприлично красивы: их лоснящиеся лицевые стороны являлись самой безупречной вещью, которую вор видел за последние месяцы.

– Я хочу играть, – сказал он, бросая вызов гипнотическому перемещению карт.

– Тогда садись, пилигрим, – сказал Мамулян, будто этот вопрос никогда не обсуждался.

Женщина почти беззвучно поставила стул позади него. Усевшись, вор встретился взглядом с Мамуляном. Было ли в этих безрадостных глазах что-нибудь, способное причинить ему вред? Нет, ничего. Там было нечего бояться.

Пробормотав слова благодарности за приглашение, вор расстегнул манжеты рубашки и закатал рукава, готовясь к партии.

Через некоторое время игра началась.

## Часть вторая

### Приют

*Дьявол – отнюдь не худшее, что есть на свете; я предпочел бы иметь дело с ним, нежели с иными людьми. Он держит слово куда охотнее, чем многие мошенники в этом мире. По правде говоря, когда ему причитается плата, он приходит точно в назначенное время; едва пробьет двенадцать, забирает душу и отправляется домой в ад, как подобает дьяволу. Он просто делец, и ведет себя должным образом.*

**И. Нестрой. Адский страх**

## I. Провидение

### 5

Отсидев шесть лет в Уондсворте, Марти Штраус привык ждать. Он ждал, чтобы умыться и побриться каждое утро; он ждал, чтобы поест; он ждал, чтобы испражниться; он ждал свободы. Так много ожидания. Конечно, все это было частью наказания, как и беседа, на которую его вызвали в этот унылый день. Но если справляться с ожиданием было легко, с беседами дела обстояли иначе. Он ненавидел оказываться в центре бюрократического внимания: досье на условно-досрочное освобождение, переполненное дисциплинарными отчетами и отчетами о домашних обстоятельствах, а также психиатрическими заключениями; то, как каждые несколько месяцев приходилось стоять голяком перед неучтивым чиновником, который говорил тебе, какая ты мерзкая тварь. Это причиняло такую боль, что он не сомневался, что никогда не исцелится от нее; никогда не забудет жаркие комнаты, полные намеков и разбитых надежд. Они будут сниться ему вечно.

– Входи, Штраус.

Комната не изменилась с тех пор, как он был здесь в последний раз, только воздух стал еще более затхлым. Человек на противоположной стороне стола тоже не изменился. Его звали Сомервейл, и в Уондсворте было немало заключенных, каждую ночь молившихся о его изничтожении. Сегодня он сидел за пластиковым столом не один.

– Садись, Штраус.

Марти взглянул на компаньона Сомервейла. Он не был тюремным служащим. Его костюм слишком элегантен, а ногти слишком ухожены. Постарше среднего возраста, телосложение крепкое, нос слегка искривлен – будто когда-то был сломан, а потом неумело вылечен. Сомервейл его представил:

– Штраус. Это мистер Той...

– Здравствуйте, – сказал Марти.

Загорелое лицо в ответ повернулось в его сторону: взгляд был откровенно оценивающий.

– Рад познакомиться, – сказал Той.

Его пристальный взгляд скрывал нечто большее, чем простое любопытство, хотя что – подумал Марти – он мог увидеть? Человека, которого время не пощадило: тело, ставшее вялым от переизбытка плохой пищи и недостатка упражнений; неумело подстриженные усы; глаза, остекленевшие от скуки. Марти знал каждую унылую деталь своей внешности. Он больше не стоил второго взгляда. И все же ярко-голубые глаза смотрели на него как зачарованные.



– Я думаю, нам пора перейти к делу, – сказал Той Сомервейлу. Он положил руки на стол ладонями вниз. – Как много вы рассказали мистеру Штраусу?

Мистер Штраус. Такое обращение – почти забытая вежливость.

– Я ему ничего не говорил, – ответил Сомервейл.

– Тогда мы должны начать с самого начала, – сказал Той. Он откинулся на спинку стула, все еще держа руки на столе.

– Как вам будет угодно, – сказал Сомервейл, явно готовясь к продолжительной речи. – Мистер Той... – начал он.

Но продолжить не успел, потому что гость его перебил.

– Вы позволите? – сказал Той. – Возможно, у меня лучше получится изложить ситуацию вкратце.

– Как пожелаете, – сказал Сомервейл. Он шарил в кармане пиджака в поисках сигареты, едва скрывая досаду. Той не обратил на него внимания. Асимметричное лицо продолжало смотреть на Марти.

– Мой работодатель, – начал Той, – человек по имени Джозеф Уайтхед. Я не знаю, знакомо ли вам это имя? – Он не стал дожидаться ответа и продолжил: – Если вы о нем не слышали, то наверняка знакомы с «Корпорацией Уайтхед», которую он основал. Это одна из крупнейших фармацевтических империй в Европе...

Название пробудило в памяти Марти смутные скандальные ассоциации. Но все это казалось мучительно расплывчатым, а времени ломать голову не было – Той не собирался тормозить.

– Хотя мистеру Уайтхеду под семьдесят, он еще контролирует корпорацию. Он сам себя создал, как вы понимаете, и посвятил жизнь своему творению. Однако предпочитает быть менее заметным, чем раньше...

Перед мысленным взором Штрауса внезапно возникла фотография на первой полосе. Человек, заслонившийся рукой от фотовспышки: приватный момент, выхваченный затаившимся папарацци для всеобщего обозрения.

– ...Он старается избегать публичности, и после смерти жены его вкус к светской жизни почти иссяк...

Штраус тоже не любил нежеланное внимание, но вспомнил женщину, чья красота поражала даже при нелестном освещении. Возможно, та самая жена, о которой говорил Той.

– ...Вместо этого он предпочитает руководить корпорацией из-за кулис, занимаясь в часы досуга социальными вопросами. Среди них – переполненность тюрем и ухудшение работы тюремной системы в целом.

Последнее замечание было, несомненно, адресованной Сомервейлу колкостью, которая безжалостно настигла цель. Чиновник затушил недокурную сигарету в пепельнице из алюминиевой фольги, бросив на гостя кислый взгляд.

– Когда пришло время нанять нового личного телохранителя, – продолжал Той, – мистер Уайтхед решил искать подходящего кандидата не через обычные агентства, а среди кандидатов на условно-досрочное освобождение.

Он не может иметь в виду меня, подумал Штраус. Идея была соблазнительно хороша и слишком нелепа. И все же, если это не так, почему Той здесь и зачем вся эта болтовня?

– Он ищет человека, чей срок подходит к концу. Того, кто заслуживает, как по его, так и по моей оценке, возможности вернуться в общество, имея в своем распоряжении работу и некоторую самооценку. Ваше дело привлекло мое внимание, Мартин. Я могу называть вас Мартином?

– Обычно это Марти.

– Ладно. Пусть будет Марти. Честно говоря, я не хочу вселять в вас надежду. Мне предстоит побеседовать еще с несколькими кандидатами, помимо вас, и, конечно, в конце дня я

могу обнаружить, что ни один не подходит. На данном этапе я просто хочу выяснить, заинтересует ли вас такой вариант, если он будет вам предоставлен.

Марти начал улыбаться. Не снаружи, а внутри, где Сомервейл не мог до него добраться.

– Вы понимаете, о чем я спрашиваю?

– Да. Я понимаю.

– Джо... мистер Уайтхед... нуждается в том, кто полностью посвятит себя его благополучию; кто с готовностью рискнет собственной жизнью, оберегая работодателя. Я, конечно, понимаю, что прошу слишком многого.

Марти нахмурился. Это и впрямь было немало, особенно после того, как в Уондсворте он шесть с половиной лет учился думать только о себе. Той быстро почувствовал колебания претендента.

– Вы обеспокоены, – сказал он.

Марти мягко пожал плечами.

– И да и нет. Я имею в виду, что меня никогда раньше об этом не просили. Я не хочу нести чушь о том, что мне хочется быть убитым из-за кого-то другого, потому что это не так. Я бы соврал, да и то сквозь зубы, если бы заявил подобное.

Той закивал, побуждая Марти продолжать.

– Ну, я все сказал.

– Вы женаты? – спросил Той.

– Разъехались.

– Могу я спросить, не будет ли в ближайшее время бракоразводного процесса?

Марти поморщился. Он терпеть не мог говорить об этом. Это была его рана, он предпочитал перевязывать ее и тосковать в одиночестве. Ни один сокамерник не вытянул из него эту историю, даже во время тех исповедей в три утра, что случались с предыдущим соседом, пока не появился Фивер, который говорил только о жратве и бумажных бабах. Но сейчас он должен что-то сказать. Подробности наверняка припрятаны у них в какой-нибудь папке. Той, скорее всего, знает про Чармейн – как она и с кем – больше, чем он сам.

– Чармейн и я... – Он попытался подобрать слова для клубка чувств, но ничего не вышло, кроме прямого заявления. – Не думаю, что у нас много шансов воссоединиться, если вас это интересует.

Той почувствовал резкость в голосе Марти, Сомервейл тоже. Впервые с тех пор, как Той вышел на арену, чиновник начал проявлять некоторый интерес к происходящему. Он хочет посмотреть, как я разболтаюсь и потеряю эту работу, подумал Марти: он видел предвкушение на лице Сомервейла. Что ж, черт бы его побрал, он не получит такого удовольствия.

– Это не проблема... – ровным голосом продолжил Марти. – А если и проблема, то моя. Я все еще привыкаю к тому, что ее не будет рядом, когда я выйду. Вот и все, на самом деле.

Той теперь улыбался, и улыбка была дружелюбная.

– Правда, Марти, – сказал он, – я не хочу совать нос не в свое дело. Я забочусь лишь о том, чтобы мы полностью поняли ситуацию. Если мистер Уайтхед вас наймет, вам придется жить в поместье с ним, и необходимым условием работы будет невозможность уехать без специального разрешения, полученного от мистера Уайтхеда или от меня. Другими словами, вы не получите неограниченной свободы. Отнюдь нет. Возможно, поместье лучше рассматривать как разновидность открытой тюрьмы. Мне важно знать о любых ваших связях, которые могут соблазнить на легкий побег от всех ограничений.

– Да, понимаю.

– Более того, если по какой-либо причине ваши отношения с мистером Уайтхедом не заладятся, если вы или он почувствуете, что работа вам не подходит, то, боюсь...

– ...мне придется вернуться сюда и отсидеть остаток срока.

– Да.

Наступила неловкая пауза, во время которой Той тихо вздохнул. Ему потребовалось мгновение, чтобы восстановить равновесие, затем он двинулся в другом направлении.

– Я хотел бы задать еще несколько вопросов. Вы ведь занимались боксом, верно?

– Немного. Это было давно...

На лице Тоя отразилось разочарование.

– Вы его бросили?

– Да, – ответил Марти. – Какое-то время я продолжал силовые тренировки.

– У вас есть какие-нибудь навыки самообороны? Дзюдо? Карате?

Марти подумывал солгать, но какой от этого прок? Все, что Тою нужно было сделать, это проконсультироваться с вертухаями в Уондсворте.

– Нет, – сказал он.

– Жаль.

У Марти все сжалось внутри.

– Но я здоров, – сказал он. – И силен. Могу научиться. – Он почувствовал, как в голосе откуда-то появилась непрошенная дрожь.

– Боюсь, нам не нужен ученик, – заметил Сомервейл, едва сдерживая ликование.

Марти наклонился вперед через стол, пытаясь отстраниться от присутствия похожего на пиявку Сомервейла.

– Я справлюсь с этой работой, мистер Той, – настаивал он. – Я знаю, что справлюсь. Просто дайте мне шанс...

Дрожь нарастала; кишки кувыркались. Лучше сейчас притормозить, пока он не сказал или не сделал что-то, о чем потом пожалеет. Но слова и чувства не желали сбавлять темп.

– Дайте мне возможность доказать, что я могу это сделать. Я немного прошу, не так ли? И если я облажаюсь, это будет моя вина, верно? Шанс – все, что мне нужно.

Той посмотрел на него с выражением, похожим на сочувствие. Неужели это конец? Может, он уже принял решение – один неверный ответ, и все пошло прахом, – или он мысленно упаковал свой портфель и вернул папку «Штраус, М.» в липкие руки Сомервейла, чтобы ее снова засунули между двумя забытыми заключенными?

Марти прикусил язык и откинулся на спинку неудобного стула, уставившись на свои дрожащие руки. Было невыносимо смотреть на лицо Тоя – элегантное, со следами бывших драк – после того, как он раскрыл свою душу нараспашку. Той все прочитает в его взгляде, о да, всю боль и желание, и он не сможет этого вынести.

– На вашем суде... – начал Той.

Ну что еще? Зачем он длит эту муку? Все, чего хотел Марти, – вернуться в камеру, где Фивер будет сидеть на койке и играть со своими куклами, где можно спрятаться, погрузившись в знакомое оцепенение. Но Той еще не закончил; ему требовалась правда, только правда и ничего, кроме правды.

– На суде вы заявили, что главным мотивом вашего участия в ограблении было погашение значительных игорных долгов. Я прав?

Марти перевел взгляд с рук на ботинки. Шнурки развязались, и хотя они были достаточно длинными, чтобы завязать двойным узлом, у него никогда не хватало терпения работать со сложными узлами. Он предпочитал обычный бантик. Если нужно развязать такой узел, достаточно потянуть за веревочку и – фокус-покус! – он исчезает.

– Это верно? – снова спросил Той.

– Да, верно, – сказал ему Марти. Он зашел так далеко, почему бы не закончить историю? – Нас было четверо. С двумя пушками. Мы попытались захватить фургон для перевозки ценностей. Все вышло из-под контроля. – Он оторвал взгляд от ботинок; Той внимательно наблюдал за ним. – Водитель получил пулю в живот. Он умер позже. Все это есть в материалах дела, не так ли? – Той кивнул. – А насчет фургона? Это тоже есть в деле? – Той не ответил. –

Он был пуст, – продолжил Марти. – Мы ошибались с самого начала. Эта чертова штуковина была пуста!

– А долги?

– Что?

– Ваши долги перед Макнамарой. Они все еще выдающиеся?

Этот человек начинал действовать Марти на нервы. Какое Тою дело, если он задолжал несколько тысяч? Просто изображает сочувствие, позволяющее закончить беседу с достоинством.

– Отвечай мистеру Тою, Штраус, – сказал Сомервейл.

– А вам какое дело?

– Интересно, – честно признался Той.

– Ясно.

На хрен его интерес, подумал Марти, пусть он им подавится. Пора заканчивать с этой исповедью.

– Теперь я могу идти? – сказал он.

И поднял голову. Но посмотрел не на Тоя, а на Сомервейла, который ухмылялся сквозь сигаретный дым, вполне удовлетворенный тем, что беседа закончилась катастрофой.

– Думаю, да, Штраус, – сказал он. – Если у мистера Тоя больше нет вопросов.

– Нет, – сказал Той мертвым голосом. – Я вполне удовлетворен.

Марти встал, по-прежнему избегая встречаться взглядом с Тоем. Маленькая комната была полна отвратительных звуков. Скрип ножек стула по полу, хриплый сомервейловский кашель курильщика. Той спрятал свои заметки. Все было кончено.

Сомервейл сказал:

– Можешь идти.

– Мне было приятно познакомиться с вами, мистер Штраус, – сказал Той в спину Марти, когда тот подошел к двери, и Марти, не задумываясь, обернулся, чтобы увидеть, как тот улыбается ему и протягивает руку для рукопожатия. *Мне было приятно познакомиться с вами, мистер Штраус.*

Марти кивнул и пожал ему руку.

– Спасибо, что уделили мне время, – сказал Той.

Марти закрыл за собой дверь и вернулся в камеру в сопровождении Пристли, надзирателя. Они ничего друг другу не сказали.

Марти наблюдал, как птицы пикируют на крышу здания, садясь на перила и выклянчивая лакомства. Они появлялись и исчезали, когда им было удобно, находили ниши для гнезда, принимали свою независимость как должное. Он им ни в чем не завидовал. А если и завидовал, момент признаваться в этом был неподходящий.

## 6

Прошло тринадцать дней, но никаких известий от Тоя или Сомервейла не было. Не то чтобы Марти их ждал. Он упустил свой второй шанс, почти сам срежессировал последние минуты, отказавшись говорить о Макнамаре. Тем самым он надеялся пресечь любые ложные надежды. Не преуспел. Как он ни старался забыть разговор с Тоем, ничего не получалось. Эта встреча вывела его из равновесия, расшатанные нервы были в той же степени мучительны, как и причина случившегося. Он думал, что уже освоил искусство безразличия тем же образом, каким дети познают, что кипяток обжигает: посредством болезненного опыта.

В таковом не было недостатка. Первые двенадцать месяцев заключения он боролся против всего и всех, с кем сталкивался. В тот год он не завоевал ни друзей, ни хоть какой-нибудь благосклонности системы; все, чем обзавелся, – синяки и сроки в карцере. На второй год, осо-

знав поражение, он ушел со своей личной войной в подполье; занялся силовыми тренировками и боксом, сосредоточился на создании и поддержании тела, которое послужит, когда придет время возмездия. Но в середине третьего года вмешалось одиночество: боль, которую не могло скрыть самоистязание (мышцы, доведенные до болевого порога и выше, день за днем). В тот год он заключил перемирие с самим собой и с тюрьмой. Это был нелегкий мир, но с тех пор все стало налаживаться. Он даже начал чувствовать себя как дома в гулких коридорах, камере и сжимающемся анклаве своей головы, где самые приятные переживания были теперь далеким воспоминанием.

Четвертый год принес новые ужасы. В тот год ему исполнилось двадцать девять лет; на горизонте маячил тридцатник, и он хорошо помнил, как его молодое «я», которому предстояло много времени потратить впустую, отвергало мужчин его возраста как безнадежных неудачников. Это было болезненное осознание, и старая клаустрофобия (он оказался в ловушке, но не за решеткой, а внутри собственной жизни) вернулась с большей силой, чем когда-либо, а вместе с ней – новое безрассудство. В тот год у него появились татуировки: алая и синяя молнии на левом предплечье и «США» – на правом. Незадолго до Рождества Чармейн написала ему, что лучше было бы развестись, но он не придал этому значения. Какой в этом прок? Безразличие – лучшее лекарство. Стоит признать поражение, и жизнь превращается в пуховую перину. В свете этой мудрости пятый год был сущим пустяком. У него имелся доступ к наркоте и влияние, которое приходит с тюремным опытом; у него было все, что угодно, кроме свободы, и ее он мог подождать.

А потом появился Той, и как бы Марти ни старался забыть имя этого человека, он поймал себя на том, что снова и снова прокручивает в голове получасовую беседу, изучая каждый обмен репликами в мельчайших деталях, будто искал крупницу пророчества. Конечно, это бесполезное упражнение, но оно не остановило репетиции, и процесс стал по-своему утешительным. Он никому не сказал, даже Фиверу. Это была его тайна: комната, Той, поражение Сомервейла.

На второе воскресенье после встречи с Тоем Чармейн пришла его навестить. Разговор проходил традиционно по-дурацки: как трансатлантический телефонный звонок с секундной задержкой между вопросом и ответом. Гул прочих бесед в помещении им не мешал: нельзя испортить то, что уже испорчено. Теперь от этого никуда не денешься. Он давно прекратил попытки спасти гибнущие отношения. После дежурных расспросов о здоровье родственников и друзей оставалось наблюдать за распадом в мельчайших подробностях.

Он писал ей в первых письмах: «Ты прекрасна, Чармейн. Я думаю о тебе по ночам, ты мне все время снишься».

Но потом ее внешность, казалось, потеряла свою остроту – так или иначе, Марти перестал мечтать о ее лице и теле под собой, – и хотя продолжал притворяться в письмах некоторое время, его любовные сентенции начали звучать фальшиво, и он перестал писать о таких интимных вещах. Сказать ей, что он думает о ее лице, было как-то по-детски; что она могла вообразить себе, кроме того, как он потеет в темноте и играет сам с собой, словно двенадцатилетний пацан? Он такого не хотел.

Может, если вдуматься, это было ошибкой. Возможно, их брак начал разрушаться именно тогда, когда он почувствовал себя нелепо и перестал писать любовные письма. Но разве она тоже не изменилась? Даже сейчас ее глаза смотрели на него с неприкрытым подозрением.

– Флинн передает тебе привет.

– О, хорошо. Ты с ним видишься, да?

– Время от времени.

– Как у него дела?

Чармейн предпочитала смотреть на часы, а не на него, чему он был рад. Это дало возможность изучить ее, не чувствуя себя навязчивым. Когда ее лицо переставало напрягаться,



Марти по-прежнему находил ее привлекательной. И все-таки сейчас он, как ему казалось, полностью контролировал свою реакцию на нее. Он мог смотреть на нее – на прозрачные мочки ушей, изгиб шеи – и обозревать совершенно бесстрастно. По крайней мере, этому его научила тюрьма: не желать того, чего не можешь иметь.

– О, с ним все в порядке, – ответила она.

Ему потребовалось несколько секунд, чтобы сориентироваться: о ком она говорит? Ах да, Флинн. Жил-был человек, который никогда не марал рук. Флинн-мудрец, Флинн-проныра.

– Он шлет свои наилучшие пожелания, – сказала она.

– Ты уже сказала, – напомнил он.

Еще одна пауза; с каждым ее приходом разговор становился все более мучительным. Не столько для него, сколько для нее. Казалось, она переживает травму всякий раз, когда выплевывает хоть слово.

– Я снова ходила к адвокатам.

– О, да.

– По-видимому, все идет своим чередом. Они сказали, что бумаги будут готовы в следующем месяце.

– Что мне делать, просто подписать их?

– Ну... он сказал, что нам нужно поговорить о доме и обо всем, что у нас есть.

– Забирай себе.

– Но ведь он наш, не так ли? Я имею в виду, что он принадлежит нам обоим. А когда ты выйдешь, тебе понадобится жилье, мебель и все остальное.

– Ты хочешь продать дом?

Еще одна жалкая пауза, будто Чармейн балансировала на грани того, чтобы сказать что-то гораздо более важное, чем банальности, которые наверняка прозвучат.

– Извини, Марти, – сказала она.

– За что?

Она встряхнула головой. Ее волосы переливались на свету.

– Не знаю, – ответила она.

– Это не твоя вина. Во всем этом нет твоей вины.

– Я просто не могу...

Она замолчала и уставилась на него, внезапно оживившись от сильного испуга – это ведь испуг, верно? – в большей степени, чем за десяток прежних встреч, на протяжении которых они с трудом выдавливали из себя избитые истины, сидя в какой-нибудь холодной комнате. Ее глаза заблестели от подступивших слез.

– Что такое?

Она пристально смотрела на него, готовая разрыдаться.

– Чар... что случилось?

– Все кончено, Марти, – сказала она, будто до нее впервые дошло, кончено, finita, прощай.

Он кивнул:

– Да.

– Я не хочу, чтобы ты... – Она осеклась, помолчала, затем попробовала опять. – Не вини меня.

– Я тебя не виню. Я тебя никогда не винил. Господи, ты же была рядом со мной, верно? Все это время. Мне мучительно видеть тебя здесь, ты знаешь. Но ты пришла; когда я нуждался в тебе, ты меня не бросила.

– Я думала, все наладится, – сказала она, продолжая говорить так, словно он не произнес ни слова. – Я правда так думала. Я думала, ты скоро выйдешь – и, может, у нас все получится. У нас оставался дом и все такое. Но последнюю пару лет все начало разваливаться.

Он видел, как она страдает, и думал: «Я никогда не смогу забыть этого, потому что сам виноват, и я – самое жалкое дерьмо на Земле, потому что посмотрите, что я натворил». В самом начале, конечно, были слезы, и письма от нее, полные боли и полузабытых обвинений, но это мучительное горе, которое она выказывала сейчас, намного глубже. Прежде всего, оно исходило не от двадцатидвухлетней девушки, но от взрослой женщины; и ему было стыдно думать, что он виноват в этом, – а ведь, казалось, этап пройденный.

Чармейн высморкалась в салфетку, которую вытащила из пачки.

– Какой бардак, – сказала она.

– Да.

– Я просто хочу с этим разобраться.

Она бросила беглый взгляд на часы, слишком быстрый, чтобы засечь время, и встала.

– Я лучше пойду, Марти.

– На встречу опаздываешь?

– Нет... – ответила она, и это была явная ложь, которую она даже не пыталась скрыть, – может, схожу за покупками. Мне от этого всегда становится лучше. Ты же меня знаешь.

Нет, подумал он. Я тебя не знаю. Вероятно, когда-то и знал, но не уверен в этом, и то была другая ты, и, Боже, я скучаю по ней. Он запретил себе продолжать эти мысли. С ней нельзя так расставаться; он знал это по прошлым встречам. Весь фокус – быть холодным и закончить на формальной ноте, чтобы он мог вернуться в камеру и забыть ее до следующего раза.

– Я хотела, чтобы ты понял, – сказала она. – Но, кажется, не очень хорошо объяснила. Как все ужасно запуталось.

Чармейн не попрощалась: у нее на глазах снова выступили слезы, и Марти не сомневался, что она испугалась, слышав речи адвокатов, что передумает в последний момент – из-за слабости, любви или того и другого разом, – а потому надо уйти не оборачиваясь, чтобы не допустить такого развития событий.

Он вернулся в камеру, побежденный. Фивер спал. Сокамерник слюной прилепил себе на лоб обрывок журнальной страницы с изображением вульвы – такая у него была излюбленная привычка. Она зияла, словно третий глаз над его закрытыми веками, все таращилась и таращилась без надежды на сон.

## 7

– Штраус?

Пристли стоял у открытой двери и смотрел в камеру. Рядом с ним на стене какой-то остряк нацарапал: «Хочется вставить? Пни дверь, появится щель». Шутка была знакомая – Марти видел такой же прикол или нечто похожее на стенах других камер, – но теперь, глядя на толстое лицо Пристли, подумал, что подразумеваемая связь врага и женского полового органа и впрямь непристойна.

– Штраус?

– Да, сэр.

– Тебя хочет видеть мистер Сомервейл. Примерно в три пятнадцать. Я приду тебя забрать. Будь готов к десяти минутам четвертого.

– Да, сэр.

Пристли повернулся, чтобы уйти.

– Не могли бы вы сказать мне, в чем дело, сэр?

– Откуда мне знать, мать твою!

Сомервейл ждал в комнате для допросов в три пятнадцать. Папка Марти лежала перед ним на столе, и веревочки на ней были завязаны узлом. Рядом лежал темно-желтый конверт без пометок. Сам Сомервейл стоял у окна с укрепленным стеклом и курил.

– Заходи, – сказал он. Сесть не предложил и от окна не отвернулся.

Марти закрыл за собой дверь и стал ждать. Сомервейл шумно выпустил дым через ноздри.

– Ну и что, Штраус? – сказал он.

– Прошу прощения, сэр?

– Я спросил: ну и что? Включи воображение.

Марти окончательно растерялся и спросил себя, кто из них в большем замешательстве: он или Сомервейл. Через некоторое время тот сказал:

– Моя жена умерла.

Марти не знал, что ему положено сказать. Как бы там ни было, Сомервейл не дал ему времени сформулировать ответ. За первыми тремя словами последовали еще три:

– Тебя выпускают, Штраус!

Он поместил голые факты рядом, словно они взаимосвязаны; будто весь мир в сговоре против него.

– Я поеду с мистером Тоем? – спросил Марти.

– Он и комиссия считают тебя подходящей кандидатурой для работы в поместье Уайтхеда, – сказал Сомервейл. – Подумать только. – Он издал низкий горловой звук, который мог быть смехом. – Разумеется, ты будешь находиться под пристальным наблюдением. Не моим, а того, кто займет мое место. И если хоть раз переступишь черту...

– Я понимаю.

– Хотелось бы верить. – Сомервейл затаился, по-прежнему не оборачиваясь. – Интересно, воображаешь ли ты, какую свободу выбрал...

Такие речи, решил Марти, не испортят нарастающую эйфорию. Сомервейл потерпел поражение, пусть себе болтает.

– Джозеф Уайтхед, возможно, один из самых богатых людей в Европе, но он также один из самых эксцентричных, как я слышал. Одному Богу известно, во что ты ввязываешься, но, поверь мне, здешняя жизнь может показаться тебе куда приятнее.

Слова Сомервейла растаяли в воздухе, его зерна упали на сухую почву. То ли от опустошенности, то ли от осознания, что его не слушают, чиновник прекратил уничижительный монолог, едва начав, и отвернулся от окна, чтобы поскорее разобраться с неприятным делом. Марти был потрясен, увидев перемену в этом человеке. За несколько недель, прошедших с их последней встречи, Сомервейл постарел на годы: он выглядел так, словно пережил это время на сигаретах и горе. Его кожа напоминала черствый хлеб.

– Мистер Той заберет тебя от ворот в следующую пятницу днем. Это тринадцатое февраля. Ты суверен?

– Нет.

Сомервейл протянул Марти конверт.

– Внутри все подробности. Через пару дней будет медосмотр, и кто-нибудь появится, чтобы решить вопрос о твоём положении с комиссией по условно-досрочному освобождению. Правила нарушаются ради тебя, Штраус. Бог знает почему. Только в твоём крыле есть дюжина более достойных кандидатов.

Марти вскрыл конверт, быстро просмотрел плотно отпечатанные страницы и положил их в карман.

– Мы больше не увидимся, – говорил Сомервейл, – и я уверен, что ты благодарен мне за это.

Марти не позволил себе и намека на ответ. Его притворное безразличие, казалось, воспламенило в усталом теле Сомервейла тайные запасы неиспользованной ненависти. Обнажив плохие зубы, чиновник сказал:

– На твоём месте, Штраус, я благодарил бы Бога. Благодарил от всего сердца.

– За что... сэр?

– Впрочем, в твоём сердце маловато места для Бога, не так ли?

В этих словах в равной мере звучали боль и презрение. Марти не мог не думать о Сомервейле, одином в двуспальной кровати; о муже без жены и без веры в то, что он увидит ее снова; не способном на слезы. И тут же в голову пришла другая мысль: каменное сердце Сомервейла, разбитое одним страшным ударом, не так сильно отличается от его собственного. Они оба – суровые мужчины, оба отгородились от мира, а внутри погрузились в личные войны. Оба кончили тем, что оружие, которое выковали для победы над врагом, обернулось против них. Отвратительное осознание. И если бы Марти не был столь обрадован известием об освобождении, он, вероятно, не осмелился бы так думать. Но так оно и было. Они с Сомервейлом, словно две ящерицы, лежащие в одной вонючей грязной луже, вдруг стали похожи как близнецы.

– О чем ты думаешь, Штраус? – спросил Сомервейл.

Марти пожал плечами.

– Ни о чем, – ответил он.

– Лжец, – сказал чиновник.

Взяв папку, он вышел из комнаты для допросов, оставив дверь открытой.

На следующий день Марти позвонил Чармейн и рассказал ей о случившемся. Она казалась довольной, и это было приятно. Когда он отошел от телефона, его трясло, но он чувствовал себя хорошо.

Последние несколько дней в Уондсворте он будто смотрел на все чужими глазами. Привычные детали тюремной жизни – непринужденная жестокость, бесконечные насмешки, построенные на власти и сексе игры – казались новыми, как шесть лет назад.

Конечно, эти годы потрачены зря. Ничто не могло ни вернуть их назад, ни наполнить полезным опытом. Эта мысль угнетала Марти. У него было так мало вещей, с которыми можно выйти в мир. Две татуировки; тело, знавшее лучшие дни; воспоминания о гневе и отчаянии. В новом странствии ему предстояло путешествовать налегке.

## 8

В ночь перед отъездом из Уондсворта ему приснился сон. Его ночная жизнь за все годы тюремного заключения была не тем, чем можно похвастаться. Влажные сны о Чармейн вскоре прекратились, как и более экзотические полеты фантазии, словно подсознание, сочувствуя заключенному, не желало дразнить его мечтами о свободе. Время от времени он просыпался среди ночи, испытывая головокружение от блаженства, но чаще сны были такими же бессмысленными и повторяющимися, как жизнь наяву. Однако это был совсем другой случай.

Ему снился какой-то собор, незаконченный – вероятно, в силу невозможности закончить подобный шедевр из башен, шпилей и аркбутанов – и слишком огромный для физического мира с его непреклонной гравитацией, однако в пространстве воображения поразительно реальный. Марти шел к нему во тьме ночи, гравий хрустел под ногами, в воздухе пахло жимолостью, а изнутри собора доносилось пение. Восторженные голоса – хор мальчиков, подумал он – звучали то выше, то ниже, не произнося ни слова. В шелковистой темноте вокруг не было видно ни одного человека – ни одного туриста, который бы глазил на это чудо. Только он и голоса.

А затем Марти каким-то чудом взлетел.

Он был легкий, и ветер нес его, и он поднимался вдоль крутой стены собора с захватывающей дух скоростью. Он летел, казалось, не подобно птице, а, как ни парадоксально, словно некая воздушная рыба. Как дельфин – да, несомненно! Его руки иногда прижимались к бокам, а иногда вспахивали кристально чистый воздух на подъеме; он гладким обнаженным существом скользил по шиферу и петлял между шпилями. Кончики его пальцев стирали росу на каменной кладке и стряхивали капли дождя с водосточных труб. Если ему когда-нибудь и снилось что-то столь приятное, он не мог этого вспомнить. Сила его радости была почти чрезмерной, и это заставило проснуться.

Он пришел в себя, широко раскрыв глаза, в противоестественной жаре камеры, где на нижней койке мастурбировал Фивер. Койка ритмично раскачивалась, скорость нарастала, и Фивер кончил со сдавленным стоном. Марти попытался отгородиться от реальности и сосредоточиться на том, чтобы снова увидеть сон. Он опять закрыл глаза, желая, чтобы образ вернулся, говоря темноте *давай, ну давай же*. На один сокрушительный миг сон вернулся: только на этот раз Марти испытал не триумф, а ужас, потому что падал камнем с неба, с высоты ста миль, а собор неся к нему, и ветер затачивал шпили к его приходу.

Он встряхнулся и проснулся, отменив падение до того, как оно могло завершиться, и пролежал остаток ночи, уставившись в потолок, пока жалкие сумерки не пролились через окно, чтобы объявить о наступлении дня.

## 9

Небо не сподобилось на роскошный прием в честь его освобождения. Это была заурядная пятница, и на Тринити-роуд все происходило как обычно.

Той ждал в приемном крыле, куда доставили Марти. Ему предстояло долго ждать, пока тюремные служащие выполнят дюжину бюрократических ритуалов: проверят и вернут вещи, подпишут и заверят бумаги об освобождении. Потребовался почти час формальностей, прежде чем отперли двери, и их обоих выпустили на свежий воздух.

Лишь пожав ему руку в знак приветствия, Той повел Марти через тюремный двор туда, где был припаркован темно-красный «Даймлер». За рулем кто-то сидел.

– Пойдем, Марти, – сказал Той, открывая дверь, – слишком холодно, чтобы задерживаться.

Было и впрямь холодно, дул свирепый ветер. Но холод не мог заморозить радость Марти. Господи, он свободный человек; возможно, свободный в строго определенных рамках, но для начала сойдет. По крайней мере, он оставил позади все тюремные атрибуты: ведро в углу камеры, ключи, цифры. Теперь он должен показать себя достойным того выбора и возможностей, которые ведут прочь отсюда.

Той успел спрятаться на заднем сиденье машины.

– Марти, – снова позвал он, поманив рукой в замшевой перчатке. – Нам надо поторопиться, а то застрянем на выезде из города.

– Да. Я уже иду...

Марти сел в машину. В салоне витали ароматы роскоши: лак, затхлый сигарный дым, кожа.

– Мне положить чемодан в багажник? – спросил Марти.

Мужчина за рулем повернулся и окинул его взглядом с головы до ног, но не удостоил приветливой улыбки. Это был уроженец Вест-Индии, одетый не в шоферскую ливрею, а в потрепанную кожаную куртку пилота.

– Сзади места достаточно.

– Лютер, – сказал Той, – это Марти.

– Положи чемодан на переднее сиденье, – ответил водитель; наклонился и открыл переднюю пассажирскую дверь. Марти вылез из машины, положил чемодан и пластиковый пакет с вещами на переднее сиденье рядом с кипой газет и потрепанным номером «Плейбоя», затем сел назад, к Тою, и захлопнул дверь.

– Не надо хлопать, – буркнул Лютер, но Марти едва расслышал его слова. Не так много зёков забирают от ворот Уондсворта на «Даймлере», думал он: может, на этот раз я приземлился на ноги.

Машина с урчанием отъехала от ворот и свернула налево, на Тринити-роуд.

– Лютер работает в поместье уже два года, – сообщил Той.

– Три, – поправил его водитель.

– В самом деле? – ответил Той. – Ну, значит, три. Он возит меня повсюду, а также ездит с мистером Уайтхедом в Лондон.

– Нет, теперь уже нет.

Марти поймал взгляд водителя в зеркале.

– И давно ты угодил в это дерьмище? – спросил Лютер без лишних церемоний.

– Достаточно давно, – ответил Марти.

Он не собирался ничего скрывать, в этом не было смысла. Но ждал следующего неизбежного вопроса: за что тебя посадили? Однако этого не произошло. Лютер снова сосредоточился на дороге, явно удовлетворенный услышанным. Марти был рад прекратить этот разговор. Все, чего он хотел, – смотреть, как мимо проплывает дивный новый мир, и впитывать его весь целиком. Люди, витрины магазинов, рекламные объявления – он жаждал подробностей, какими бы тривиальными они ни были. Он не сводил глаз с окна. Там было так много интересного, и все же у него сложилось отчетливое впечатление, что все это искусственное, будто люди на улице и в других автомобилях – актеры, подобранные по типу, и все безукоризненно играют свои роли. Его разум, изо всех сил пытающийся приспособиться к хаосу информации – со всех сторон новая перспектива, на каждом углу марширует новый парад, – просто отвергал их реальность. Все срежиссировано, твердил ему мозг, все – выдумка. Потому что эти люди вели себя так, будто жили без него, будто мир продолжался, пока он сидел взаперти, и какая-то детская часть его – та, которая, зажмурившись, считает себя невидимой, – не могла представить себе, что чья-то жизнь идет своим чередом, хотя он ее не видит.

Здравый смысл подсказывал обратное. Что бы ни подозревали его сбитые с толку чувства, мир повзрослел и, вероятно, сильнее устал с тех пор, как они виделись в последний раз. Придется возобновить знакомство: узнать, как изменилась его природа; снова изучить этикет, поводы для раздражения и потенциал для удовольствия.

Они пересекли реку по Уондсвортскому мосту и проехали через Эрлс-Корт и Шепердс-Буш на Вестуэй. Была середина пятничного дня, движение интенсивное: люди спешили домой на выходные. Он пристально вглядывался в лица водителей машин, которые они обгоняли, угадывая род занятий или пытаясь поймать взгляды женщин.

Миля за милей странность, которую он ощущал вначале, стала исчезать, и к тому времени, когда они достигли М40, он подустал от этого зрелища. Той задремал в углу заднего сиденья, сложив руки на коленях. Лютер был занят, прокладывая зигзаги по шоссе.

Одно событие остановило их движение: в двадцати милях от Оксфорда впереди на дороге вспыхнули синие огни, и звук сирены, несущийся к ним сзади, возвестил о несчастном случае. Автопроцессия замедлила ход, словно вереница скорбящих, которые остановились, чтобы заглянуть в гроб.

Какую-то машину занесло на ведущей на восток полосе автомагистрали, она пересекла разделительную полосу и лоб в лоб столкнулась с микроавтобусом, ехавшим в противоположном направлении. Все дороги, ведущие на запад, были перекрыты либо обломками, либо полицейскими машинами, автомобилистам приходилось объезжать аварию по обочине.

– Что случилось, тебе видно? – спросил Лютер, чье внимание было поглощено движением мимо регулировщика, не позволяя взглянуть самому. Марти описал сцену, как мог.

Посреди хаоса, загипнотизированный шоком, стоял мужчина, по лицу которого текла кровь, словно кто-то разбил ему о голову яйцо с кровавым желтком. Позади него группа – полицейские и спасенные пассажиры – собралась вокруг смятой в гармошку передней части автомобиля, чтобы поговорить с человеком, оказавшимся в ловушке на водительском сиденье. Тот обмяк и не шевелился. Когда они тащились мимо, одна из утешительниц, в пальто, пропитанном то ли ее собственной кровью, то ли кровью водителя, отвернулась от машины и начала аплодировать. По крайней мере, так Марти истолковал хлопанье ее ладоней: аплодисменты. Будто она страдала от той же иллюзии, которую он недавно испытал, – что все это тщательная, но отдающая дурным вкусом иллюзия, – и в любой момент все могло получить желанный конец. Ему хотелось высунуться из окна машины и сказать ей, что она ошибается, это реальный мир – с длинноногими женщинами, кристально чистым небом и так далее. Но ведь она узнает об этом завтра, не так ли? Тогда у нее будет достаточно времени для скорби. А сейчас она хлопала и продолжала хлопать, когда место аварии скрылось позади них.



## II. Лис

### 10

«Приют», как знал Уайтхед, было предательским словом. С одной стороны, оно означало убежище, пристанище, безопасность. С другой, его значение искажалось само по себе: «приют» стал означать сумасшедший дом, дыру, в которой хоронили себя сломленные умы. Это был, напомнил он себе, семантический фокус, не более. Почему же тогда эта двусмысленность часто мелькала у него в голове?

Он сидел в слишком удобном кресле у окна, где провел уже несколько вечеров, наблюдая, как ночь крадется по лужайке, и думал, не придавая особого значения своим размышлениям, о том, как одно становится другим; о том, как трудно за что-то держаться. Жизнь – дело непредсказуемое. Уайтхед усвоил этот урок много лет назад, с подачи мастера, и никогда не забывал. Вознаградят тебя за добрые дела или сдерут шкуру заживо – вопрос случая. Нет смысла цепляться за какую-то систему чисел или божеств: все они в конце концов рассыпались. Удача благоволила тому, кто готов рискнуть всем ради одного броска.

Он так делал. Не один раз, а множество, в начале карьеры, когда закладывал основы своей империи. И благодаря тому необыкновенному шестому чувству, которым обладал, способности предугадывать бросок костей, риск почти всегда окупался. У других корпораций были свои виртуозы: компьютеры, которые рассчитывали шансы до десятого знака после запятой; советники, которые держали ухо востро на фондовых рынках Токио, Лондона и Нью-Йорка. Но всех их затмевал инстинкт Уайтхеда. Когда дело доходило до осознания мига, ощущения столкновения момента и возможностей, превращающих хорошее решение в великое, банальное поглощение – в переворот, никто не мог превзойти старину Уайтхеда, и все умные молодые люди в залах заседаний совета директоров корпорации знали это. Прежде чем приступить к значительному расширению или подписать контракт, требовалось обратиться за советом к оракулу Джо.

Он догадывался, что его власть, остававшаяся абсолютной, вызывала негодование в некоторых кругах. Несомненно, были и те, кто считал, что ему следует отказаться от своей власти, предоставить университетским знатокам и их компьютерам заниматься бизнесом. Но Уайтхед завоевал эти навыки и уникальные способности к предвидению с некоторым риском; глупо позволять им лежать без дела, когда можно подержаться за штурвал хотя бы мизинцем. Кроме того, у старика был аргумент, с которым младотурки<sup>3</sup> ничего не могли поделать: его методы работали. Он так и не получил должного образования; его жизнь до обретения славы была похожа – к большому разочарованию журналистов – на чистый лист, но он создал «Корпорацию Уайтхед» из ничего. Ее судьба, к добру или худу, по-прежнему была предметом его пылких устремлений.

Однако сегодня вечером не было места для пыла, пока Уайтхед сидел в этом кресле (кресле, где можно умереть, иногда думал он) у окна. Сегодня вечером его занимало только беспокойство: старики жалобы.

Как же он ненавидел старость! Невыносимо, когда твои возможности так ограничены. Не то чтобы он был немощен, просто дюжина мелких недугов мешали ему чувствовать себя комфортно, так что редкий день проходил без повода для раздражения – то язвы во рту, то

---

<sup>3</sup> *Младотурки* (Young Turks) – политическое движение в Османской империи конца XIX – начала XX вв., ставившее целью преобразование государственного устройства. Выражение вошло в английский язык для обозначения молодых и пылких сторонников радикальных реформ в любой отдельно взятой области.

яростно зудящая опрелость между ягодицами, – которое фиксировало его внимание на теле, когда инстинкт самосохранения призывал куда-то еще. Проклятие возраста, решил Уайтхед, – рассеянность, а он не мог позволить себе роскошь небрежного мышления. Опасно думать о зуде и язвах. Стоит отвлечься, и кто-нибудь вцепится в горло. Вот о чем предупреждало беспокойство: «Не теряй бдительности ни на минуту, не думай, что ты в безопасности, потому что у меня есть новость, старина: худшее впереди».

Той постучал один раз, прежде чем войти в кабинет.

– Билл...

Уайтхед на мгновение забыл о лужайке и наступающей темноте, когда повернулся к своему другу.

– ...ты сюда добрался.

– Конечно, мы приехали, Джо. Мы опоздали?

– Нет-нет. Никаких проблем?

– Всё в порядке.

– Хорошо.

– Штраус внизу.

В сгущающихся сумерках Уайтхед подошел к столу и плеснул себе в стакан водки. До сих пор он воздерживался от выпивки, но благополучное прибытие Тоя можно и отпраздновать.

– Тебе налить?

Это был ритуальный вопрос с ритуальным ответом:

– Нет, спасибо.

– Значит, возвращаешься в город?

– Когда ты увидишь Штрауса.

– Для представлений уже слишком поздно. Почему бы тебе не остаться, Билл? Назад поедешь завтра утром, когда рассветет.

– У меня есть дело, – сказал Той, позволив себе самую нежную улыбку на последнем слове. Это был еще один ритуал, один из многих между двумя мужчинами. О делах Тоя в Лондоне, которые, как знал старик, не имели никакого отношения к корпорации, нельзя было спрашивать – так повелось.

– И каково твое впечатление?

– О Штраусе? Все, как я и подумал на собеседовании. Думаю, он подойдет. А если нет, там, откуда он пришел, их еще много.

– Мне нужен кто-то, кого не так легко напугать. Все может обернуться очень неприятным образом.

Той неопределенно хмыкнул и понадеялся, что дальше разговор не пойдет. Он устал после целого дня ожидания и путешествия, ему не терпелось дождаться вечера; сейчас было не время снова обсуждать дела.

Уайтхед поставил пустой стакан на поднос и вернулся к окну. В комнате довольно быстро темнело, и, когда старик встал спиной к Тою, тень спланила его очертания в нечто монолитное. После тридцати лет службы у Уайтхеда – трех десятилетий, в течение которых они ни разу

не поссорились, – Той по-прежнему испытывал благоговейный трепет перед этим человеком, как перед владыкой, обладающим властью над его жизнью и смертью. Он все еще делал паузу, чтобы обрести равновесие, прежде чем войти к Уайтхеду; помнил, как заикался, когда они встречались время от времени. Как ему казалось, это закономерная реакция. Этот человек был силой во плоти: в нем сосредоточилось больше силы, чем та, на какую Той мог бы надеяться или которую мог бы желать, и она с обманчивой легкостью покоилась на могучих плечах Джо Уайтхеда. За все годы их совместной работы, будь то на совещании или в зале заседаний, он ни разу не видел, чтобы Уайтхед делал паузу, подыскивая соответствующий жест или замечание. Он был просто самым уверенным человеком, которого Той когда-либо встре-

чал: уверенным до мозга костей в своей высшей ценности и с навыками, отточенными до такой степени, что мог одним словом уничтожить человека, выпустить из него все соки, погубить самооценку и разрушить карьеру до основания. Той бесчисленное множество раз видел, как это происходит, и часто с теми, кого считал лучше самого себя. Напрашивался вопрос (он задавался им даже сейчас, глядя в спину Уайтхеда): почему великий человек проводит с ним время? Возможно, все дело в их общей истории, только и всего. Верно? В общей истории и чувствах, которые она вызывала.

– Я подумываю о том, чтобы заполнить открытый бассейн.

Той возблагодарил Бога, что Уайтхед сменил тему. Никаких разговоров о прошлом, по крайней мере сегодня.

– Я там больше не плаваю, даже летом.

– Можно запустить туда рыбу.

Уайтхед слегка повернул голову, чтобы посмотреть, улыбается ли Той. Он никогда не выдавал шутки тоном, а ведь было легко, как знал Уайтхед, оскорбить человека в лучших чувствах, если рассмеяться, когда о шутке не идет речь или наоборот. Той не улыбался.

– Рыбу? – переспросил Уайтхед.

– Возможно, декоративных карпов. Кажется, они называются кои? Изысканные существа.

Тою нравился бассейн. По ночам он подсвечивался снизу, на его поверхности возникла завораживающая рябь, и сам он имел чарующе-бирюзовый цвет. Если воздух был холодным, нагретая вода испускала легкий пар, который таял в шести дюймах от поверхности. На самом деле, хоть он и ненавидел плавать, бассейн являлся его любимым местом. Он не был уверен, знал ли об этом Уайтхед, – скорее всего, знал. Той обнаружил, что *папуля* знает большинство вещей, независимо от того, озвучены они или нет.

– Тебе нравится бассейн, – заявил Уайтхед.

Что и требовалось доказать.

– Да. Нравится.

– Значит, мы его сохраним.

– Ну, это ведь не только...

Уайтхед поднял руку, чтобы предотвратить дальнейшие дебаты, довольный тем, что делает такой подарок.

– Мы его сохраним, – сказал он. – И ты можешь запустить в него карпов кои.

Он снова сел в кресло.

– Может, мне включить фонари на лужайке? – спросил Той.

– Нет, – ответил Уайтхед.

Умирающий свет из окна придавал его голове бронзовый оттенок – возможно, это был Медичи поздней эпохи, с усталыми веками, глубоко посаженными глазами, белой бородой и усами, подстриженными очень коротко; вся конструкция казалась слишком тяжелой для поддерживающей ее колонны. Сознывая, что его глаза сверлят спину старика и что Джо наверняка это почувствует, Той стряхнул с себя навеянную комнатой летаргию и вернулся к активным действиям.

– Хорошо... может, мне позвать Штрауса, Джо? Ты хочешь его видеть или нет? – Эти слова целую вечность пересекали комнату в сгущающейся темноте. В течение нескольких ударов сердца Той даже не был уверен, что Уайтхед его услышал.

Но оракул заговорил. Он изрек не пророчество, а вопрос.

– Мы выживем, Билл?

Тихие слова сорвались с его губ и вместе с дыханием, цепляясь за танцующие в воздухе пылинки, долетели до нужных ушей. У Тою упало сердце. Снова старая тема: та же параноидальная песня.

– Я слышу все больше слухов, Билл. Они не могут быть беспочвенными.

Старик все еще смотрел в окно. Грачи кружили над лесом примерно в полумиле через лужайку. Неужели Уайтхед наблюдал за ними? Той сомневался. В последнее время он часто видел Уайтхеда погруженным в себя, мысленно просматривающим прошлое. Это было не то видение, к которому имел доступ Той, но он мог догадаться о теперешних страхах Джо – в конце концов, он был рядом в те ранние дни – и он также знал, что, как бы сильно ни любил старика, есть тяготы, которые он никогда не сможет или не захочет разделить. Он недостаточно силен; в душе оставался боксером, которого Уайтхед нанял в качестве телохранителя три десятилетия назад. Теперь он носил костюм за четыреста фунтов, а его ногти были так же безукоризненны, как и манеры. Но его разум остался прежним, суеверным и хрупким. Грезы великих не для него. Как и их ночные кошмары.

И снова Уайтхед задал мучительный вопрос:

– Мы выживем?

На этот раз Той почувствовал себя обязанным ответить:

– Джо, ты же знаешь, что все идет хорошо. Прибыль растет в большинстве секторов...

Но старик ждал от него не увиливания, и Той это знал. Он запнулся, и, когда сказанное растаяло в воздухе, воцарилась унылейшая тишина. Взгляд Тою, теперь снова устремленный на Уайтхеда, оставался немигающим, и в уголках его глаз мрак, окутавший комнату, начал мерцать и ползти. Он опустил веки, и те почти заскрежетали о глазные яблоки. Узоры плясали в голове (колеса, звезды и окна), а когда он снова открыл глаза, ночь наконец по-хозяйски обосновалась внутри комнаты.

Бронзовая голова не шелохнулась. Но Уайтхед заговорил, и его испачканные страхом слова как будто появились из са`мого кишечника.

– Я боюсь, Билли. Никогда в жизни мне не было так страшно, как сейчас.

Он говорил медленно, не меняя интонацию, будто презирал мелодраму своих слов и отказывался преувеличивать ее еще сильнее.

– Все эти годы, живя без страха, я забыл, каково это. Как это калечит, истощает силу воли. Я просто сижу здесь изо дня в день. Запертый в месте с сигнализацией, заборами и собаками. Я смотрю на лужайку и деревья...

Значит, все-таки наблюдал.

– ...и рано или поздно свет начинает меркнуть.

Он сделал паузу: наступила долгая глубокая тишина, которую нарушали только далекие воро`ны.

– Я могу вынести саму ночь. Она не слишком приятна, но не двусмысленна. А вот с сумерками я не могу справиться. Тогда-то меня и прошибает дурной пот. Когда свет постепенно гаснет и все становится не совсем реальным, не совсем плотным. Превращается в очертания. В вещи, которые когда-то имели форму...

Этой зимой было много таких вечеров: бесцветный моросящий дождь размывал расстояние и убивал звук; неделю за неделей беспокойный рассвет сменялся беспокойным закатом, и между ними не было дня. Морозные дни, вроде сегодняшнего, случались редко; обескураживающие месяцы просто сменяли друг друга.

– Теперь я сижу здесь каждый вечер, – говорил старик. – Это испытание, которое я сам себе устроил. Просто сидеть и смотреть, как все разрушается. Бросая вызов всему этому.

Той ощутил всю глубину отчаяния *папули*. Он не был таким раньше, даже после смерти Эванджелины.

Снаружи и внутри почти совсем стемнело: без фонарей лужайка погрузилась в смоляной мрак. Но Уайтхед все еще сидел лицом к черному окну и наблюдал.

– Конечно, там всё есть, – сказал он.

– Что?

– Деревья, лужайка. Когда завтра рассветет, они будут ждать.

– Да, конечно.

– Знаешь, когда я был ребенком, мне казалось, что кто-то приходит и забирает мир ночью, а потом возвращается, чтобы развернуть его снова на следующее утро.

Он пошевелился в кресле, его рука потянулась к голове. Было невозможно понять, что он делает.

– То, во что мы верим в детстве, никогда не покидает нас, не так ли? Оно просто ждет, когда придет время, и мы снова начнем в него верить. Это тот же старый пяточок, Билл. Ну, ты понимаешь? Я имею в виду, мы думаем, что двигаемся дальше, становимся сильнее и мудрее, но все время стоим на одном месте.

Он вздохнул и посмотрел на Тоя. Свет из коридора проникал через дверь, которую Той оставил приоткрытой. Даже на другом конце комнаты было видно, что глаза и щеки Уайтхеда блестели от слез.

– Тебе лучше зажечь свет, Билл, – сказал он.

– Да.

– И приведи сюда Штрауса.

В его голосе не было заметно ни малейшего признака огорчения. Но Джо – мастер скрывать свои чувства; Той знал это с незапамятных времен. Он мог сомкнуть веки и уста, и даже телепат не понял бы, о чем он думает. Этот навык он использовал с разрушительным эффектом в зале заседаний: никто никогда не знал, в какую сторону прыгнет старый лис. Вероятно, он научился данной технике, играя в карты. Этому и еще умению ждать.

## 11

Они проехали через электрические ворота поместья Уайтхеда и оказались в другом мире. По обеим сторонам подъездной дорожки, усыпанной гравием цвета сепии, располагались безукоризненные лужайки; справа вдаль виднелась часть леса, которая исчезала за линией кипарисов, по мере того как машина приближалась к дому. К тому времени, когда они прибыли, настал поздний вечер, но мягкий свет только усиливал очарование этого места, его формальность компенсировалась поднимающимся туманом, который размывал скальпельные острия травы и деревьев.

Главное здание оказалось менее впечатляющим, чем ожидал Марти: просто большой загородный дом в георгианском стиле, солидный, но безыскусный, с современными пристройками. Они проехали мимо парадной двери и крыльца с белыми колоннами к боковому входу, и Той пригласил его пройти на кухню.

– Забудь про багаж и налей себе кофе, – сказал он. – Я иду наверх повидаться с боссом. Устраивайся поудобнее.

Оставшись один, Марти впервые после отъезда из Уондсворта почувствовал себя неуютно. Дверь у него за спиной была открыта, на окнах – никаких замков, а по коридорам за кухней не прохаживались полицейские. Парадоксально, но он чувствовал себя незащищенным, почти уязвимым. Через несколько минут он встал из-за стола, включил флуоресцентную лампу (ночь наступала быстро, а здесь не было автоматических выключателей) и налил себе чашку черного кофе из перколятора <sup>4</sup>. Напиток оказался насыщенным и горьковатым, заваренным много раз, как догадался Марти, – не таким безвкусным, как пойло, к которому он привык.

Прошло двадцать пять минут, прежде чем Той вернулся, извинился за задержку и сказал, что мистер Уайтхед сейчас его примет.

---

<sup>4</sup> *Перколятор* – разновидность кофеварки, в которой горячая вода из специального резервуара по замкнутому циклу проходит через емкость с молотым кофе. Отдельного резервуара для готового напитка в перколяторе не предусмотрено, поэтому кофе может завариваться много раз на протяжении неопределенно долгого срока, что в конце концов приводит к усилению горечи. В настоящее время перколяторы практически вытеснены другими видами приборов для заваривания кофе.

– Оставь свои вещи, – сказал он. – Лютер позаботится о них.

Той повел его из кухни, которая была частью пристройки, в главный дом. В коридорах было сумрачно, но Марти повсюду видел поразительные вещи. Здание напоминало музей. Стены от пола до потолка увешаны картинами, на столах и полках – вазы и керамические статуэтки, покрытые блестящей эмалью. Однако разглядывать их было некогда. Они петляли по лабиринту коридоров, и с каждым поворотом Марти все больше терял ориентацию; наконец добрались до кабинета. Той постучал, открыл дверь и впустил Марти.

Имея в запасе лишь плохо запомнившуюся фотографию Уайтхеда, Марти выдумал облик нового работодателя – тот оказался абсолютно неверным. Там, где он представлял себе слабость, обнаружилась сила. Там, где ожидал увидеть эксцентричного отшельника, нашел морщинистое тонкое лицо, которое изучало его, пока он входил в кабинет, с деловитостью и юмором.

– Мистер Штраус, – сказал Уайтхед, – добро пожаловать.

Занавески за спиной Уайтхеда все еще были открыты, и в окне внезапно зажглись прожектора, освещая пронзительную зелень на добрых двести ярдов. Внезапное появление газона было похоже на трюк фокусника, но Уайтхед проигнорировал его. Он подошел к Марти. Хотя он был крупным мужчиной и большая часть его плоти превратилась в жир, вес сидел на его костяке довольно легко. Чувство неловкости не возникало. Грация его походки, почти масляная гладкость руки, протянутой Марти, гибкость пальцев – все говорило о том, что этот человек находится в мире со своим телом.

Они пожали друг другу руки. То ли гость был горяч, то ли хозяин дома замерз: Марти сразу взял вину на себя. Такому человеку, как Уайтхед, конечно, не бывало слишком жарко или слишком холодно; он контролировал свою температуру с той же легкостью, с какой контролировал свои финансы. Разве Той не обронил в машине фразу, что Уайтхед никогда в жизни серьезно не болел? Теперь, когда Марти оказался лицом к лицу с этим образцом здоровья, он мог поверить в услышанное. Этот человек, наверное, даже от метеоризма не страдал.

– Я Джозеф Уайтхед, – представился хозяин. – Добро пожаловать в Святилище.

– Спасибо.

– Выпьете? Чтобы отпраздновать.

– Да, пожалуйста.

– Чего изволите?

В голове у Марти вдруг стало пусто, и он обнаружил, что разинул рот, как выброшенная на берег рыба. Слава богу, Той предложил:

– Скотч?

– Это было бы прекрасно.

– Мне как обычно, – ответил Уайтхед. – Проходите и садитесь, мистер Штраус.

Они сели. Кресла были удобными, не антикварными, как столы в коридорах, а функциональными, современными. Вся комната выдержана в одном стиле: рабочая среда, а не музей. Несколько картин на темно-синих стенах, по мнению необразованного Марти, выглядели такими же новыми, как и мебель, – они были нарисованы крупными небрежными штрихами. На самой видной и яркой стояла подпись «Матисс»: на холсте женщина с болезненно-розовым лицом устроилась в шезлонге цвета желчи.

– Твой виски.

Марти принял предложенный Тоем стакан.

– Мы попросили Лютера купить тебе новую одежду, она в твоей комнате, – говорил Уайтхед Марти. – Для начала всего пара костюмов, рубашек и так далее. Позже мы, возможно, пошлем тебя докупить прочее. – Он осушил свой стакан чистой водки, прежде чем продолжить. – Заключенным по-прежнему выдают униформу или уже нет? Попахивает богадельней,

как по мне. В наше просвещенное время это не слишком тактично. Того и гляди, люди поверят, что судьба будущих преступников predetermined заранее...

Это русло беседы вызвало у Марти неуверенность: неужели Уайтхед насмехается? Монолог продолжался, хозяйский тенор звучал вполне дружелюбно, в то время как Марти пытался отделить иронию от высказанного напрямую мнения. Это было трудно. За те несколько минут, что он слушал Уайтхеда, пришлось вспомнить, насколько замысловато все устроено снаружи. По сравнению с переменчивой, богатой интонациями речью этого человека, самый умный собеседник в Уондсворте был дилетантом. Той сунул Марти в руку вторую порцию виски, но тот едва обратил на это внимание. Голос Уайтхеда звучал гипнотически и странно успокаивающе.

– Той объяснил тебе твои обязанности, не так ли?

– Вроде бы да.

– Я хочу, чтобы этот дом стал домом и для тебя, Штраус. Познакомься с ним. Есть одно или два места, которые будут недоступны; Той скажет, какие. Пожалуйста, соблюдай ограничения. Все остальное в твоём распоряжении.

Марти кивнул и залпом допил виски; оно потекло по глотке, как ртуть.

– Завтра...

Уайтхед встал, не закончив мысль, и вернулся к окну. Трава блестела как свежескошенная.

– ...мы с тобой прогуляемся по окрестностям.

– Ладно.

– Узнаешь, что тут можно увидеть. Познакомлю тебя с Беллой и остальными.

Значит, есть и другой персонал? Той не говорил об этом, но здесь неизбежно должны трудиться и другие люди: охранники, повара, садовники. Поместье, вероятно, кишело работниками.

– Придешь ко мне поговорить завтра, хорошо?

Марти допил остатки виски, и Той жестом предложил ему встать. Уайтхед, казалось, внезапно потерял интерес к ним обоим. Его оценка была закончена, по крайней мере на сегодня; его мысли витали далеко, взгляд устремился в окно на сверкающую лужайку.

– Да, сэр. Завтра.

– Но прежде, чем придешь... – начал Уайтхед, оглядываясь на Марти.

– Да, сэр.

– Сбрей усы. С ними любой подумает, будто тебе есть что скрывать.

## 12

Той небрежно провел Марти по дому, прежде чем отвести наверх, пообещав более основательную прогулку, когда время не будет поджимать. Затем он показал Марти длинную просторную комнату на верхнем этаже, в боковой части дома.

– Это твоё, – сказал он. Лютер оставил чемодан и пластиковый пакет на кровати; их неряшливость выглядела неуместной в элегантном убранстве комнаты. Здесь, как и в кабинете, была современная мебель.

– Сейчас здесь немного пусто, – продолжил Той. – Поступай, как хочешь. Если у тебя есть фотографии...

– Вообще-то нет.

– Ну, надо что-нибудь повесить на стены. Там есть книги... – он кивнул в дальний конец комнаты, где несколько полок стонали под тяжестью томов, – но библиотека внизу в твоём распоряжении. Я покажу тебе планировку на следующей неделе, когда устроишься. Здесь, наверху,

есть видеоманитофон, внизу – еще один. Опять же, Джо не очень интересуется этим, так что пользуйся в свое удовольствие.

– Звучит неплохо.

– Слева небольшая гардеробная. Как сказал Джо, там ты найдешь свежую одежду. Ванная комната за другой дверью. Душ и все прочее. Кажется, все. Надеюсь, этого достаточно.

– Все в порядке, – заверил Марти.

Той взглянул на часы и собрался уйти.

– Пока вы не ушли...

– Проблемы?

– Нет проблем, – сказал Марти. – Господи, вообще никаких проблем. Я просто хочу, чтобы вы знали, что я благодарен...

– Нет необходимости.

– Есть, – настаивал Марти; он пытался сочинить эту речь с Тринити-роуд. – Я вам очень благодарен. Не знаю, как и почему вы выбрали меня, но я ценю это.

Тоя слегка смутило проявление чувств, но Марти был рад высказаться.

– Поверь мне, Марти. Я не выбрал бы тебя, если бы не был уверен, что ты справишься с этой работой. Теперь ты здесь. От тебя зависит, сумеешь ли ты воспользоваться этим шансом. Я, конечно, буду рядом, но в остальное время ты более-менее сам себе хозяин.

– Да. Я понимаю.

– Тогда я тебя покину. Увидимся в начале недели. Кстати, Перл оставила тебе еду на кухне. Спокойной ночи.

– Спокойной ночи.

Той оставил его одного. Марти сел на кровать и открыл чемодан. Плохо упакованная одежда пахла тюремным моющим средством, ее не хотелось вынимать. Вместо этого он стал рыться на дне чемодана, пока не нащупал бритву и пену для бритья. Затем он разделся, бросил несвежую одежду на пол и пошел в ванную.

Она была просторной, зеркальной и соблазнительно освещенной. На обогреваемой вешалке висели свежевystищенные полотенца. Душ, а также ванна и биде: количество сантехники сбивало с толку. Что бы ни случилось, Марти будет чист. Он включил свет над зеркалом и положил бритвенные принадлежности на стеклянную полку над раковиной. Ему не стоило утруждать себя поисками. Той – или, может, Лютер – приготовил для него полный набор: бритву, лосьон до бритья, пену, одеколон. Все нераспечатанное, нетронутое – бери и пользуйся. Марти посмотрел на себя в зеркало – интимный самоанализ, которого ждут от женщин, но который мужчины практикуют редко, разве что в запертых ванных комнатах. Дневные тревоги отразились на его лице: кожа была анемичной, мешки под глазами – полными. Как человек, ищущий сокровище, он обшаривал свое лицо в поисках улик. Неужели прошлое спрятано здесь, подумал он, во всех грязных деталях, и, вероятно, слишком глубоко, чтобы его можно было стереть?

Ему требовалось немного солнца и приличные упражнения на свежем воздухе. С завтрашнего дня, подумал он, новый режим. Будет бегать каждый день, пока не обретет такую форму, что будет не узнать. А еще надо сходить к хорошему дантисту: его десны кровоточили с тревожащей частотой и в одном или двух местах отступали от зуба. Он гордился своими зубами – они были ровные и крепкие, как у матери. Марти попробовал улыбнуться перед зеркалом, но улыбка утратила часть прежнего блеска. Над этим тоже надо поработать. Он теперь свободен и, вероятно, со временем найдутся женщины, которых улыбка поможет обаять.

Его взгляд переместился с лица на тело. На мускулах живота виднелся клин жира: не меньше стоуна <sup>5</sup> лишнего веса. Придется потрудиться. Соблюдать диету и упражняться до тех

---

<sup>5</sup> 1 стоун приблизительно равен 6,35 кг.



пор, пока он не вернется к двенадцати целым трем десятым стоуна, которые весил, когда впервые попал в Уондсворт. Если не считать накопленного жирка, все не так уж плохо. Возможно, теплый свет льстил, но тюрьма, похоже, не изменила его радикально. Не лишился шевелюры; не был покрыт шрамами – за исключением татуировок и маленького полумесяца слева от рта; не обдолбался по самую макушку. Может, он все-таки из тех, кому суждено выжить.

Рука Марти подползла к паху, пока он изучал себя, и рассеянными дразнящими движениями вызвала легкую эрекцию. Он не думал про Чармейн. Если в его возбуждении и присутствовало вожеление, оно было нарциссическим. Многие зэки, с которыми он жил, без труда утоляли сексуальную жажду с сокамерниками, но Марти это не нравилось. Не из-за отвращения к самому действию – хоть оно и присутствовало, – но потому, что эту противоестественность ему навязали. Это был просто еще один способ унижить человека в тюрьме. Вместо этого он запер свою сексуальность, член был нужен, чтобы отливать, – и, в общем-то, все. Теперь, играя с ним, как тщеславный подросток, он задавался вопросом: не разучился ли пользоваться чертовой штуковиной?

Он включил теплую воду, нырнул под душ и с ног до головы намазался лимонным мылом. В день удовольствий это было, пожалуй, лучшее. Вода бодрила, как весенний дождь. Его тело начало просыпаться. Да, именно так, подумал Марти, я был мертв и возвращаюсь к жизни. Он был похоронен в заднице мира, в такой глубокой яме, что думал, никогда не выберется из нее, но он сделал это, черт возьми, – вырвался. Он сполоснулся, а затем позволил себе повторить ритуал, на этот раз пустив воду значительно горячее и сильнее. Ванная комната наполнилась паром и плеском воды по кафелю.

Когда Марти вышел и выключил воду, голова гудела от жары, виски и усталости. Он подошел к зеркалу и очистил овал от конденсата основанием кулака. Вода придала новый румянец щекам. Волосы прилипли к голове, как светло-каштановая тубетейка. Надо отрастить их подлиннее, подумал он, если Уайтхед не будет возражать; может, сделать стильную стрижку. Но сейчас было более неотложное дело – удаление обреченных усов. Он не особенно волосат. Чтобы отрастить усы, потребовалось несколько недель и необходимость терпеть обычную череду тупых шуток. Но если босс хочет, чтобы лицо у него было обнаженное, кто он такой, чтобы спорить? Мнение Уайтхеда по этому поводу прозвучало скорее как приказ, нежели предложение.

Несмотря на хорошо укомплектованный шкафчик в ванной комнате (всё, от аспирина до препаратов для уничтожения лобковых вшей), там не было ножниц. Поэтому пришлось тщательно намылить волосы, чтобы смягчить их, а потом уже взяться за бритву. Лезвие протестовало, его кожа – тоже, но следовал удар за ударом, и вот верхняя губа снова появилась в поле зрения. С трудом заработанные усы стекали в раковину вместе с пеной, чтобы быть засосанными в слив. Потребовалось полчаса, прежде чем результат трудов его удовлетворил. Он порезался в двух или трех местах и запечатал порезы, как мог, слюной.

К тому времени, как Марти закончил, пар рассеялся, и только затуманенные участки искажали его отражение. Он посмотрел на лицо в зеркале. Обнаженная верхняя губа выглядела розовой и уязвимой, а бороздка в центре имела причудливо идеальную форму, но внезапная нагота была не таким уж плохим зрелищем.

Довольный, он смыл остатки усов с края раковины, обернул полотенце вокруг талии и неторопливо вернулся в спальню. В теплом доме с центральным отоплением он практически обсох: вытираться полотенцем не требовалось. Усталость и голод боролись в нем, пока он сидел на краю кровати. Внизу для него приготовлена еда – по крайней мере, так сказал Той. Ну, может, он просто ляжет на эту девственно-чистую простыню, положит голову на душистую подушку и закроет глаза на полчаса, а потом встанет и спустится вниз, чтобы поужинать. Он сбросил полотенце, лег на кровать, наполовину накрыв себя одеялом, и тут же заснул. Снов не было, а если и были, он спал слишком крепко, чтобы их запомнить.

Через несколько мгновений наступило утро.

## 13

Если он и забыл географию дома после короткой экскурсии прошлой ночью, то обоняние привело его обратно на кухню. Жарился бекон, варился свежий кофе. У плиты стояла рыже-волосая женщина. Она оторвалась от работы и кивнула.

– Ты, должно быть, Мартин, – сказала она с легким ирландским акцентом. – Ты поздно встал.

Он взглянул на настенные часы. Было несколько минут восьмого.

– Прекрасное выдалось утро.

Задняя дверь была открыта; он пересек просторную кухню, чтобы посмотреть на день. Тот и впрямь выглядел прекрасно. Небо опять очистилось. Лужайку затянуло инеем. В туманной дали Марти увидел что-то, похожее на теннисные корты, за ними – рощу деревьев.

– Кстати, меня зовут Перл, – объявила женщина. – Я готовлю для мистера Уайтхеда. Ты голоден, да?

– Как пришел сюда, так сразу проголодался.

– Мы здесь верим в завтрак. Кое-что, чтобы подготовиться к новому дню. – Она была занята тем, что перекладывала бекон со сковородки на плите в духовку. Рабочая поверхность рядом с плитой была завалена снедью: помидорами, сосисками, ломтиками кровяной колбасы. – Там, сбоку, есть кофе. Не стесняйся.

Перколятор бурчал и шипел, пока Марти наливал себе чашку кофе – такого же темного и ароматного, как и тот, что он попробовал накануне вечером.

– Тебе придется привыкнуть пользоваться кухней, когда меня нет. Я здесь не живу, просто прихожу и ухожу.

– А кто готовит для мистера Уайтхеда, когда вас нет?

– Он любит делать это сам при случае. Но тебе придется приложить руку.

– Я едва могу вскипятить воду.

– Научишься.

Она повернулась к нему с яйцом в руке. Она была старше, чем ему показалось вначале, может, лет пятидесяти.

– Не беспокойся об этом, – сказала она. – Насколько голоден?

– Как волк.

– Вчера вечером я оставила тебе холодные закуски.

– Я заснул.

Она разбила одно яйцо на сковородку, затем второе и сказала:

– У мистера Уайтхеда нет особых предпочтений, за исключением клубники. Он не потребует суфле, не волнуется. Большая часть продуктов в морозилке по соседству: все, что тебе нужно сделать, развернуть их и положить в микроволновку.

Марти оглядел кухню, изучая оборудование: кухонный комбайн, микроволновая печь, электрический разделочный нож. Позади него, на стене, висел ряд телевизионных экранов. Прошлой ночью он их не заметил. Однако, прежде, чем он успел спросить о них, Перл предложила дальнейшие гастрономические подробности.

– Он часто испытывает голод среди ночи – по крайней мере, так говорил Ник. Видишь ли, у него странный суточный распорядок.

– Кто такой Ник?

– Твой предшественник. Он уехал как раз перед Рождеством. Он мне очень нравился, но Билл сказал, что он оказался немного нечист на руку.

– Понимаю.

Она пожала плечами.

– Поди знай, верно? Я хочу сказать, он... – Она замолчала на полуслове, тихонько проклиная свой язык, и скрыла смущение, перекладывая яичницу из сковороды на тарелку, к остальной еде, уже собранной там. Марти закончил ее мысль вслух за нее.

– Он не был похож на вора, вы это хотели сказать?

– Я не это имела в виду, – настаивала она, переставляя тарелку с плиты на стол. – Осторожно, тарелка горячая. – Ее лицо стало такого же цвета, как волосы.

– Все в порядке, – успокоил ее Марти.

– Мне нравился Ник, – повторила она. – Правда, нравился. Я повредила одно яйцо. Извини.

Марти посмотрел на полную тарелку. Один из желтков действительно разбился и растекался вокруг жареного помидора.

– По-моему, все в порядке, – сказал он с неподдельным аппетитом и принялся за еду. Перл снова наполнила его кружку, нашла чашку для себя, наполнила ее и села рядом с ним.

– Билл очень хорошо отзывается о тебе, – сказала она.

– Сначала я не был уверен, что понравился ему.

– О да, – сказала она, – очень сильно. Отчасти из-за бокса, конечно. Он сам когда-то был профессиональным боксером.

– Неужели?

– Я думала, он тебе сказал. Это было тридцать лет назад. До того, как он стал работать на мистера Уайтхеда. Хочешь тост?

– Не откажусь.

Она встала, отрезала два ломтика белого хлеба и сунула их в тостер. Немного поколебалась, прежде чем вернуться к столу.

– Мне действительно жаль, – сказала она.

– Насчет яйца?

– Насчет упоминания Ника и воровства...

– Я же сам спросил, – ответил Марти. – Кроме того, вы имеете полное право быть осторожной. Я бывший заключенный. Даже не бывший, на самом деле, и могу вернуться в тюрьму, стоит оступиться... – Ему претило говорить такое, будто эти слова, лишь будучи произнесенными вслух, делали подобный сценарий более реальным. – ...Но я не собираюсь подводить мистера Тоя. Или себя самого. Идет?

Перл кивнула, явно обрадовавшись, что между ними ничего не произошло, и снова села допивать кофе.

– Ты не такой, как Ник, – сказала она, – это я уже вижу.

– Он был странным? Имел стеклянный глаз?

– Ну, он не был... – Перл, казалось, пожалела об этом новом повороте беседы, едва он случился. – Впрочем, ладно, – прибавила она, махнув рукой.

– Нет. Расскажите.

– Ну, если на то пошло, я думаю, у него были долги.

Марти постарался не выказывать ничего, кроме легкого интереса. Но что-то, должно быть, мелькнуло в его глазах, вероятно, проблеск паники. Перл нахмурилась.

– Какого рода долги? – беспечным тоном спросил он.

Тосты выскочили, привлекая внимание Перл. Она подошла к столу, взяла ломтики и принесла их обратно.

– Прошу прощения, что взяла их пальцами.

– Спасибо.

– Я не знаю, сколько он задолжал.

– Нет, я не имею в виду, насколько большие долги, я имел в виду... откуда они взялись?

Интересно, это прозвучало как праздный вопрос или она поняла по тому, как он сжал вилку, по внезапной потере аппетита, что речь о чем-то важном? Он должен был спросить, как бы это ни выглядело с точки зрения Перл. Она на мгновение задумалась, прежде чем ответить. А когда снова заговорила, в ее приглушенном голосе прорезались интонации уличной сплетницы; что бы ни случилось дальше, оно должно было остаться их общим секретом.

– Он приходил сюда в любое время дня и ночи и звонил по телефону. Сказал мне, что обзванивает людей, занятых в бизнесе, – видишь ли, он каскадер или когда-то им был, – но вскоре я поняла, что он делает ставки. Думаю, это и есть причина долгов. Азартные игры.

Каким-то образом Марти знал ответ до того, как он прозвучал. Напрашивался и другой вопрос: простое ли совпадение, что Уайтхед нанял двух телохранителей, и оба в какой-то момент жизни были игроками? Оба – как теперь выяснилось – воровали, чтобы обеспечить свое хобби. Той никогда не проявлял особого интереса к этой стороне жизни Марти. Но, вероятно, все важные факты были в папке, которую Сомервейл всегда носил с собой: отчеты психолога, протоколы судебных заседаний; все сведения, которые могли понадобиться Тою, о мотиве, толкнувшем Марти на кражу. Он попытался стряхнуть с себя дискомфорт, который испытывал из-за всего этого. Какая, к черту, разница? Что было, то было; теперь он здоров.

– Ты доел?

– Да, спасибо.

– Еще кофе?

– Сам возьму.

Перл взяла тарелку Марти, соскребла недоеденную еду на блюдце – для птиц, как она выразилась, – и начала загружать тарелки, столовые приборы и сковородки в посудомоечную машину. Марти снова наполнил свою кружку и наблюдал за ее работой. Она была привлекательной женщиной, ей шел средний возраст.

– Сколько всего сотрудников у Уайтхеда?

– Мистера Уайтхеда, – мягко поправила она. – Сотрудников? Ну, есть я. Я прихожу и ухожу, как уже сказала. И еще мистер Той.

– Он ведь тоже здесь не живет, верно?

– Он остается на ночь, когда у них здесь проходят совещания.

– Это регулярно?

– О да. В доме проходит много собраний. Люди все время приходят и уходят. Вот почему мистер Уайтхед так заботится о безопасности.

– Он когда-нибудь ездит в Лондон?

– Не сейчас, – сказала она. – Раньше он довольно часто летал на самолете. В Нью-Йорк, Гамбург или еще куда-нибудь. Но не сейчас. Теперь он просто остается здесь круглый год и заставляет остальной мир приходить к нему. Так о чем я говорила?

– О сотрудниках.

– О да. Раньше это место кишело людьми. Охрана, слуги, горничные наверху. Но потом его обуяли подозрения. Он решил, что кто-нибудь может отравить его или убить в ванной, и всех уволил – так просто. Сказал, пусть останутся лишь некоторые, те, кому он доверяет. Благодаря этому среди окружения не будет незнакомцев.

– Меня он не знает.

– Может, еще нет. Но он хитрее всех, с кем мне доводилось сталкиваться.

Зазвонил телефон. Она подняла трубку. Марти понял, что на другом конце провода Уайтхед. Перл выглядела застигнутой врасплох.

– О... Это моя вина. Я его заболтала. Да, немедленно. – Она быстро повесила трубку. – Мистер Уайтхед ждет тебя. Лучше поторопиться. Он с собаками.

## 14

Псарни располагались за группой надворных построек – возможно, в прошлом конюшен – в двухстах ярдах позади главного дома. Многочисленные сараи из шлакоблоков с ограждениями из проволоочной сетки построили исключительно ради практических целей, даже не вспоминая об архитектурных достоинствах, и потому они выглядели бельмом на глазу.

На открытом воздухе было холодно, поэтому, идя по жесткой траве к псарне, Марти пожалел, что на нем одна лишь рубашка. Но в голосе Перл звучала настойчивость, и он не хотел заставлять Уайтхеда – он должен научиться думать об этом человеке как о мистере Уайтхеде – ждать дольше, чем тот уже прождал. Как бы то ни было, великий человек не выглядел раздраженным его опозданием.

– Я подумал, что мы могли бы взглянуть на собак сегодня утром. А потом, может, совершим экскурсию по территории, да?

– Да, сэр.

Уайтхед был одет в тяжелое черное пальто с толстым меховым воротником, обрамляющим шею.

– Любишь собак?

– Хотите честный ответ, сэр?

– Конечно.

– Не особенно.

– Твою мать укусили или тебя? – В налитых кровью глазах мелькнула улыбка.

– Никого из нас, сэр, насколько я помню.

Уайтхед хмыкнул:

– Что ж, Штраус, скоро ты встретишься с этим племенем, нравится оно тебе или нет. Очень важно, чтобы тебя узнавали. Они обучены разрывать незваных гостей на части. Не хочется, чтобы они ошиблись.

Из одного из больших сараев появилась фигура с рывковым ошейником в руках. Марти с первого взгляда не понял, мужчина это или женщина. Коротко стриженные волосы, поношенный анорак и сапоги – все говорило о мужественности, но что-то в выражении лица подсказывало обратное.

– Это Лилиан. Она присматривает за собаками.

Женщина кивнула в знак приветствия, даже не взглянув на Марти.

При ее появлении несколько собак – больших лохматых овчарок – вышли из своих конур на бетонную площадку и начали обнюхивать гостью сквозь проволоку, приветственно скуля. Она безуспешно шикнула на них; приветствие переросло в лай, один-два пса встали на задние лапы, опираясь на сетку и яростно виляя хвостами. В таком положении они были вровень с людьми. Шум усилился.

– А ну, тихо, – резко приказала Лилиан, и почти все собаки замолчали. Только один кобель, крупнее прочих, по-прежнему стоял у ограждения, требуя внимания, пока Лилиан не сняла кожаную перчатку и не просунула пальцы сквозь сетку, чтобы почесать его покрытое густой шерстью горло.

– Мартин занял место Ника, – объяснил Уайтхед. – С этого момента он будет здесь постоянно. Я подумал, что он должен встретиться с собаками, и пусть собаки встретятся с ним.

– Логично, – без энтузиазма ответила Лилиан.

– А сколько их? – поинтересовался Марти.

– Совсем взрослых? Девять. Пять кобелей, четыре суки. Это Саул, – сказала она про пса, которого все еще гладила. – Он самый старший и крупный. Кобель в углу – Иов, один из сыновей Саула. Сейчас он не очень хорошо себя чувствует.

Иов полулежал в углу загона и с некоторым энтузиазмом облизывал яички. Казалось, он понял, что стал предметом для разговора, потому что на мгновение прервал свой туалет. Во взгляде, который он бросил на них, было все, что Марти ненавидел в этом племени: угроза, изворотливость, едва сдерживаемое презрение в адрес хозяев.

– А суки вон там.

По загону взад-вперед бегали две собаки.

– ...Более светлую зовут Дидона, а темную – Зои.

Странно было слышать, что зверей называют такими именами; это казалось совершенно неуместным. И, конечно, они негодовали по поводу того, как нарекла их эта женщина; вероятно, насмеялись над ней за ее спиной.

– Иди сюда, – сказала Лилиан, подзывая Марти, как если бы он был из ее стаи. Он подчинился.

– Саул, – сказала она животному за проволокой, – это друг. Подойди ближе. – Это уже было адресовано Марти. – Он не может учуять тебя издалека.

Пес опустился на четвереньки. Марти осторожно приблизился к проволоке.

– Не бойся. Иди прямо к нему. Пусть он хорошенько тебя обнюхает.

– Они не любят страх, – сказал Уайтхед. – Так, Лилиан?

– Совершенно верно. Если учуют, что ты боишься, тебе крышка. Они не знают пощады. Надо быть им ровней.

Марти подошел к Саулу. Пес раздраженно посмотрел на него, и он ответил тем же.

– Не пытайся играть в гляделки, – посоветовала Лилиан. – Это злит пса. Просто дай ему почувствовать твой запах, чтобы он узнал тебя.

Саул обнюхал ноги и промежность Марти через сетку, к его вящему неудовольствию. Затем, явно удовлетворенный, побрел прочь.

– Неплохо, – сказала Лилиан. – В следующий раз никакой сетки. И через некоторое время он начнет тебя слушаться. – Она получала удовольствие от беспокойства Марти, он был уверен в этом. Но ничего не сказал, просто последовал за ней в самый большой сарай.

– А теперь познакомься с Беллой, – проговорила она.

Внутри псарни стоял невыносимый запах дезинфекции, несвежей мочи и псины. Появление Лилиан было встречено очередным продолжительным лаем и скрежетом лап по проволоке. В центре сарая имелся проход с клетками справа и слева. В двух из них содержались суки, одна значительно меньше другой. Когда Марти и Уайтхед проходили мимо каждой клетки, Лилиан выкладывала подробности – имена собак и их место в кровосмесительном генеалогическом древе. Марти внимательно слушал все, что она говорила, и тут же забывал. Его мысли были заняты другим. Его нервировало не только близкое присутствие собак, но и удушающее чувство, что эту обстановку он хорошо знает. Коридор, камеры с бетонными полами, одеялами, голыми лампочками – словно угодили *домой*. И теперь он увидел собак в новом свете: уловил иной смысл в зловещем взгляде Иова, когда тот оторвался от омовения; понял лучше, чем Лилиан или Уайтхед, как эти пленники должны были смотреть на него и его род.

Он остановился, чтобы заглянуть в одну из клеток: не из особого интереса, а чтобы сосредоточиться на чем-то другом, кроме беспокойства, которое чувствовал в этой вызывающей клаустрофобию хижине.

– А как этого зовут? – спросил он.

Собака в клетке стояла у двери: еще один крупный кобель, хотя и не такой, как Саул.

– Это Ларусс, – ответила Лилиан.

Пес выглядел дружелюбнее остальных, и Марти, поборов волнение, опустился на корточки в узком коридоре, протянув руку к клетке.

– Он с тобой поладит, – сказала она.

Марти приложил пальцы к сетке. Ларусс с любопытством понюхал их; его нос был влажным и холодным.

– Хороший песик, – сказал Марти. – Ларусс.

Пес завилял хвостом, довольный, что его назвал по имени потный незнакомец.

– Хороший песик.

Здесь, внизу, ближе к одеялам и соломе, запах экскрементов и меха был еще сильнее. Но собака была в восторге оттого, что Марти спустился на ее уровень, и пыталась лизнуть его пальцы через проволоку. Марти почувствовал, как страх в нем рассеивается энтузиазмом пса: Ларусс не только не хотел причинить ему вред, но и демонстрировал чистейшее удовольствие.

Только теперь Марти обратил внимание на пристальный взгляд Уайтхеда. Старик стоял в нескольких футах слева от него, полностью загоразивая телом узкий проход между клетками, и внимательно наблюдал. Новоиспеченный телохранитель смутился и встал, оставив пса скулить и вилять хвостом у ног, последовал за Лилиан дальше вдоль клеток. Псарь пела хвалу другому члену собачьего племени. Марти прислушался к ее рассказу:

– ...а это Белла, – объявила она. Ее голос смягчился, в нем появилось что-то мечтательное, чего он раньше не замечал. Когда Марти подошел к клетке, на которую она указывала, и понял почему.

Белла устроилась в сетчатой тени в дальнем углу клетки – наполовину лежала, наполовину сидела на подстилке из одеял и соломы, словно черноносая Мадонна со слепыми щенками, прильнувшими к соскам. Когда Марти увидел эту картину, его колебания насчет собак испарились.

– Шесть щенков, – объявила Лилиан так гордо, словно они были ее собственными, – все сильные и здоровые.

Они были не только сильными и здоровыми, но и красивыми; толстенькие довольные шарики, угнездившиеся рядом друг с дружкой в роскоши материнской близости. Казалось немыслимым, чтобы столь уязвимые существа могли вырасти в серых как сталь лордов, вроде Саула или подозрительных мятежников вроде Иова.

Белла, почувствовав среди гостей новичка, наострила уши. Ее голова была великолепно вылеплена; чернь и золото, смешиваясь, придавали шкуре эффектный вид, карие глаза в полумраке глядели бдительно, но беззлобно. Безупречное, самодостаточное существо. Единственным ответом на ее присутствие – и Марти таковой охотно предоставил – являлся благоговейный трепет.

Лилиан заглянула сквозь проволоку, представляя Марти этой матери матерей.

– Это мистер Штраус, Белла, – сказала она. – Ты будешь видаться с ним время от времени, он мой друг.

В голосе Лилиан не было снисходительности, как если бы она обращалась к ребенку. Она заговорила с собакой как с равной, и, несмотря на первоначальную неуверенность Марти относительно этой женщины, он почувствовал к ней теплоту. Любовь – вещь не из тех, какие легко отыскать, он это испытал на собственной шкуре. В каком бы обличье она ни появилась, имело смысл ее уважать. Лилиан любила эту собаку – ее грацию, достоинство. Это была любовь, которую он мог одобрить, хоть и не совсем понимал.

Белла понюхала воздух и, казалось, была удовлетворена тем, что ей удалось оценить Марти. Лилиан неохотно отвернулась от клетки и посмотрела на Штрауса.

– Со временем она может даже привязаться к тебе. Она, знаешь ли, великая соблазнительница. Да, великая соблазнительница.

Позади них Уайтхед хмыкнул в ответ на сентиментальную чепуху.

– Не осмотреть ли нам окрестности? – нетерпеливо предложил он. – Думаю, мы тут закончили.

– Приходи, когда устроишься, – сказала Лилиан; ее манеры заметно смягчились с тех пор, как Марти проявил признательность к ее подопечным, – и я покажу тебе, на что они способны.

– Спасибо. Я приду.

– Я хотел, чтобы ты посмотрел на собак, – сказал Уайтхед, когда они оставили вольеры позади и быстрым шагом направились через лужайку к ограде периметра. Впрочем, это была лишь одна из причин его визита, и Марти все прекрасно понимал. Уайтхед задумал данный опыт как благотворное напоминание о прошлом своего нового телохранителя. О том месте, куда ему пришлось бы вернуться, если бы не милость Джозефа Уайтхеда. Что ж, урок усвоен. Он скорее перепрыгнет сквозь горящие обручи ради старика, чем снова увидит те коридоры и камеры. Там не было даже Беллы, никакой возвышенной и тайной матери, запертой в самом сердце Уондсворта. Просто потерянные мужчины вроде него.

Потеплело: солнце уже взошло, и бледно-лимонный шар парил над гнездовьем грачей, иней таял на лужайках. Марти начал осознать масштабы поместья. По обе стороны открывались просторы: он видел воду, озеро или, вероятно, реку, сияющую за деревьями. С западной стороны дома тянулись ряды кипарисов, что наводило на мысль о дорожках и, возможно, фонтанах; с другой стороны на склоне был разбит сад, окруженный низкой каменной стеной. Понадобятся недели, чтобы составить план этой местности.

Они подошли к двойному забору, огибавшему поместье. Добрых десяти футов высотой, увенчанный заостренными стальными стойками, изгибающимися в сторону потенциального нарушителя. К стойкам крепилась спираль из колючей проволоки. Вся конструкция почти незаметно гудела от электрического тока. Уайтхед рассматривал ее с явным удовлетворением.

– Впечатляет, а?

Марти кивнул. Зрелище тоже пробудило в нем эхо.

– Это дает определенную степень безопасности, – сказал Уайтхед.

У ограды он повернул налево и пошел вдоль нее; беседа – если это можно назвать беседой – продолжалась благодаря отрывистым замечаниям, которые он то и дело бросал, как будто эллиптические конструкции <sup>6</sup>, свойственные нормальным разговорам, его раздражали. Хозяин поместья просто нетерпеливо сыпал фразами и ждал, что Марти его поймет.

– Система не идеальная: заборы, собаки, камеры. Экраны на кухне видел?

– Да.

– У меня наверху то же самое. Камеры обеспечивают полное наблюдение днем и ночью. – Уайтхед ткнул большим пальцем в прожектор с камерой, установленные рядом с ними. Такие имелись на каждой десятой стойке. Они медленно поворачивались туда-сюда, как головы механических птиц.

– Лютер покажет тебе, как между ними переключаться. Установка обошлась в небольшое состояние, и я не уверен, что эффект более чем косметический. Не с дураками имеем дело.

– К вам кто-то вламывался?

– Только не здесь. В лондонском доме это случалось постоянно. Конечно, тогда я был более заметен. Нераскаившийся магнат. Эванджелина и я в каждой скандальной газетенке. Открытая канализация Флит-стрит <sup>7</sup> неизменно приводит меня в ужас.

– Я думал, у вас своя газета.

– Ты читал обо мне?

– Не совсем так, я...

---

<sup>6</sup> *Эллипсис, эллиптическая конструкция* – свойственный разговорной речи пропуск слов, не влияющих на смысл предложения.

<sup>7</sup> *Флит-стрит* – улица в Лондоне, за которой закрепилась слава цитадели британской прессы.



– Не верь ни биографиям, ни колонкам светской хроники, ни даже «Кто есть кто». Они лгут. Я лгу, – он завершил склоняя глагол, забавляясь собственным цинизмом, – он, она или оно лжет. Писаки. Торговцы грязью. Большинство из них презренны.

Может, от них он и скрывался с помощью смертоносных заборов – от этих торговцев грязью? Крепость на пути прилива из скандала и дерьма? Если так, план действий вышел замысловатый. А может, подумал Марти, все дело в чудовищном эгоизме? Неужели все полушарие и впрямь так заинтересовано личной жизнью Джозефа Уайтхеда?

– О чем задумались, мистер Штраус?

– О заборах, – солгал Марти, подтверждая предыдущую точку зрения Уайтхеда.

– Нет, Штраус, – поправил его Уайтхед. – Ты думаешь: во что я ввязался, позволив запереть себя с сумасшедшим?

Марти чувствовал, что любое дальнейшее отрицание будет звучать как признание вины. Он ничего не сказал.

– Разве это не общепринятая точка зрения, когда дело касается меня? Неудавшийся плутократ, гноющийся в одиночестве. Разве обо мне так не говорят?

– Что-то вроде этого, – наконец ответил Марти.

– И все же ты пришел.

– Да.

– Конечно, ты пришел. Ты подумал, что все мои причуды не могут быть хуже продолжения отсидки за решеткой, верно? Ты хотел на свободу. Любой ценой. Ты был в отчаянии.

– Конечно, я хотел на свободу. Любой бы хотел.

– Рад, что ты это признаешь. Потому что твое желание дает мне значительную власть над тобой, не так ли? Ты не посмеешь обмануть меня. Ты должен привязаться ко мне, как собаки привязываются к Лилиан: не потому, что она олицетворяет их следующую трапезу, а потому, что она – их мир. Вы должны сделать меня своим миром, мистер Штраус: моя безопасность, мой ясный ум, любая мелочь, способная доставить мне утешение, должны быть превыше всего в вашем сознании каждую минуту бодрствования. Если будет так, я обещаю свободу, о которой ты и не мечтал. Такого рода свободу, какая есть только у очень богатых людей. Если же нет, я отправлю тебя обратно в тюрьму с безнадежно испорченным личным делом. Это понятно?

– Я понял.

Уайтхед кивнул.

– Тогда пойдем, – сказал он. – Иди рядом со мной.

Он повернулся и пошел дальше. В этом месте изгородь завернула в лес, и Уайтхед, вместо того чтобы нырнуть в подлесок, предложил сократить путь, направившись к озеру.

– Как по мне, деревья друг от друга почти не отличаются, – заметил он. – Позже ты сможешь тут бродить, сколько душе угодно.

Они шли вдоль опушки леса достаточно долго, чтобы Марти успел оценить его густоту. Деревья посадили не систематически; это был не заповедник, поднадзорный Комиссии по лесному хозяйству. Они стояли близко друг к другу, переплетая ветви, – смесь лиственных пород и сосен, борющихся за место под солнцем. Лишь изредка, там, где стоял дуб или липа с голыми ветвями в это раннее время года, свет благословлял подлесок. Он пообещал себе вернуться сюда до того, как весна все приукрасит.

Уайтхед вернул мысли Марти в нужное русло.

– С этого момента я ожидаю, что ты будешь находиться под рукой бо`льшую часть времени. Я не хочу, чтобы ты был со мной каждый день... просто нужно, чтобы ты был поблизости. При случае и только с моего разрешения тебе будет позволено покидать поместье самостоятельно. Ты умеешь водить машину?

– Да.

– В машинах недостатка нет, мы что-нибудь придумаем. Это не совсем соответствует правилам, установленным комиссией по условно-досрочному освобождению. Их рекомендация состояла в том, чтобы ты оставался, так сказать, под стражей здесь в течение шести испытательных месяцев. Но я, честно говоря, не вижу причин мешать тебе навещать близких – по крайней мере, когда рядом есть другие люди, которые заботятся о моем благополучии.

– Спасибо. Я ценю это.

– Боюсь, что в настоящее время я не могу позволить тебе отлучиться. Твое присутствие здесь жизненно необходимо.

– Проблемы?

– Моя жизнь постоянно находится под угрозой, Штраус. Я, вернее мои офисы, все время получают письма с угрозами. Трудность в том, чтобы отделить чудака, который тратит свое время на сочинение гадостей в адрес общественных деятелей, от настоящего убийцы.

– Зачем кому-то понадобилось убивать вас?

– Я один из самых богатых людей за пределами Америки. Владею компаниями, в которых работают десятки тысяч людей; участками земли, такими большими, что не смог бы пройти по ним за оставшиеся мне годы, если бы начал сейчас. Владею кораблями, предметами искусства, лошадьми. Из меня легко сделать символ – вообразить, что, если бы я и моя жизнь были разрушены, на земле воцарился бы мир, а люди зажили бы по совести.

– Понимаю.

– Сладкие мечты, – с горечью прибавил Уайтхед.

Темп их марша замедлился. Дыхание великого человека стало тяжелее, чем полчаса назад. Слушая произносимые слова, было легко забыть о его преклонных годах. В звучащих мнениях был сосредоточен абсолютизм молодости. Никакого места для сдержанности зрелых лет, двусмысленности и сомнений.

– Думаю, нам пора возвращаться, – сказал он.

Монолог наконец закончился, и у Марти пропал вкус к дальнейшим разговорам. Силы тоже были исчерпаны. Стил Уайтхеда – с его неожиданными поворотами и переменами – измотал его. Надо привыкать к роли внимательного слушателя, подыскать нужное лицо и цеплять его, как только начнется очередная лекция. Научиться понимающе кивать в нужных местах, бормотать банальности в соответствующие перерывы в потоке. Это займет некоторое время, но постепенно он научится обращаться с Уайтхедом.

– Это моя крепость, мистер Штраус, – объявил старик, когда они подошли к дому. Он не выглядел особенно укрепленным: кирпичные стены слишком теплые, чтобы быть суровыми. – Ее единственная функция – уберечь меня от беды.

– И моя тоже.

– И ваша тоже, мистер Штраус.

За домом залаяла одна из собак. Соло быстро превратилось в хор.

– Время кормежки, – сказал Уайтхед.

## 15

Марти потребовалось несколько недель жизни в поместье, чтобы понять ритм жизни ближнего окружения Уайтхеда. Как и подобает доброжелательной диктатуре, формат каждого дня определялся исключительно планами и прихотями хозяина. Как старик сказал Марти в первый день, дом был его святилищем: почитатели приходили каждый день, чтобы он осенил их благодатью своего мнения. Некоторые лица он узнавал: главы промышленности, два или три министра (один из них недавно с позором покинул свой пост; интересно, подумал Марти, он пришел сюда просить прощения или возмездия?); ученые мужи, блюстители общественной

морали – многих Марти знал в лицо, но не мог назвать по имени, а еще больше просто не знал. Он не был никому представлен.

Раз или два в неделю его могли попросить остаться в комнате, пока шли собрания, но чаще всего от него требовалось лишь находиться на расстоянии оклика. Где бы он ни пребывал, оставался невидим для большинства гостей: его игнорировали, в лучшем случае, считали частью мебелировки. Сперва это раздражало; казалось, у каждого в доме есть имя, кроме него. Однако время шло, и он все больше радовался своей анонимности. От него не требовалось высказывать мнение по любому поводу, так что он мог позволить своим мыслям плыть по течению, не опасаясь быть втянутым в разговор. А еще хорошо то, что он оставался отстраненным от забот всемогущих людей: их ложь казалась удручающей и надуманной. Он видел на многих лицах выражение, знакомое по годам, проведенным в Уондсворте: постоянное беспокойство из-за мелких насмешек и места в иерархии. Возможно, в этом кругу правила были более цивилизованными, чем в Уондсворте, но борьба, как он начал понимать, в основном такая же. Разного рода игры за власть. И он был рад, что не принимает в них участия.

Кроме того, у него на уме были более важные вопросы, которые требовалось обдумать. Во-первых, Чармейн. Вероятно, больше из любопытства, чем от страсти, он много думал о ней. Поймал себя на том, что гадает, как выглядит ее тело спустя семь лет. Неужели она все еще бреет тонкую полоску волос, спускающуюся от пупка к лобку; неужели ее свежий пот все так же остро пахнет? Он задавался вопросом, любит ли она сейчас заниматься любовью, как раньше. Она выказывала больше откровенной тяги к физическому акту, чем любая другая женщина, которую он знал; это была одна из причин, по которой он женился на ней. Было ли это по-прежнему так? И если да, с кем она утоляла свою жажду? Он снова и снова прокручивал в голове эти и дюжину других вопросов о ней и обещал себе, что при первой возможности наведается к ней.

За эти недели его физическое состояние улучшилось. Строгий режим упражнений, который Марти установил для себя в первую ночь, начинался как пытка, но после нескольких дней мучений и протестов со стороны мышц усилия стали приносить плоды. Каждое утро он вставал в половине шестого и совершал часовую пробежку по саду. После недели следования по одному маршруту он его изменил, что позволило исследовать поместье, не прерывая физических упражнений. А там было на что посмотреть. Весна еще не вступила в свои права, но чувствовалось оживление. Начали появляться крокусы, проросли копыя нарциссов. На деревьях трескались толстые почки, распускались листья. Потребовалась неделя, чтобы полностью охватить поместье и выяснить, как связаны его части; теперь он более-менее понимал, как все устроено. Он знал озеро, голубятню, бассейн, теннисные корты, псарни, леса и сады. Однажды утром, когда небо было исключительно ясным, обошел поместье целиком, следуя вдоль забора, даже когда тот шел сквозь чащу леса. Теперь он полагал, что знает это место так же хорошо, как и остальные, включая владельца.

Это была радость; не просто исследование и свобода пробежать мили без того, чтобы кто-то постоянно заглядывал через плечо, но и повторное знакомство с дюжиной естественных зрелищ. Ему нравилось смотреть на восход солнца; казалось, что он бежит ему навстречу, будто рассвет существовал для него и только для него, обещая свет, тепло и грядущую жизнь.

Вскоре Марти избавился от кольца дряблой плоти на животе; снова проступил пресс, похожий на стиральную доску, которым он гордился в молодости и думал, что потерял его навеки. Мышцы, о которых он забыл, вступили в игру, сперва оповестив о своем присутствии болью, а затем просто даруя блистательное ощущение жизни в здоровом теле. Вместе с потом из него выходило скопившееся за годы разочарование, от этого становилось легче. Он вновь осознал свое тело как систему, чьи части согласованы, а здоровье зависит от равновесия и уважительного использования.

Если Уайтхед и увидел изменения в его поведении или физическом состоянии, то комментариев не последовало. Той во время одного из своих приездов в дом из Лондона сразу заметил перемену. А Марти заметил перемену в Тое, но к худшему. Было неразумно говорить вслух о том, каким усталым тот выглядит, – Марти чувствовал, что их отношения пока не допускают такой фамильярности. Он лишь надеялся, что Той не страдает от чего-то серьезного. То, как внезапно исхудало его широкое лицо, наводило на мысль о недуге, пожиравшем человека изнутри. Легкость походки, которую Марти приписывал годам на ринге, тоже исчезла.

Существовали и другие тайны, помимо ухудшения здоровья Тоя. Например, коллекция: работ великих мастеров, которые выстроились вдоль коридоров святилища. Ими пренебрегали. Никто месяцами не стряхивал с них пыль, возможно, что и годами, и в дополнение к пожелтевшему лаку, который затемнял изящество, их еще сильнее портил слой грязи. У Марти не было пристрастия к искусству, но теперь, когда появилось время разглядывать картины, он обнаружил, что жаждет большего. Многие из них, портреты и религиозные произведения, ему не очень нравились: он не знал таких людей и не понимал суть событий. Но на втором этаже, в маленьком коридоре, ведущем к пристройке, где раньше располагались апартаменты Эванджелины, а теперь – сауна и солярий, он обнаружил две картины, поразившие его воображение. Это были пейзажи, написанные одной и той же безымянной рукой, и, судя по убогому расположению, к великим произведениям искусства они не относились. Но странная смесь реальности – деревьев и извилистых дорог под сине-желтым небом – с совершенно фантастическими деталями – дракон с крапчатыми крыльями, пожирающий мужчину на дороге; женщины, летящие вдалеке над лесом; полыхающий на горизонте город, – сочетание действительного и выдуманного было отобразено так убедительно, что Марти против собственной воли снова и снова возвращался к двум полотнам, не дающим ему покоя, всякий раз обнаруживая новые фантастические детали в лесной чаще или мареве пожара.

Картины были не единственными вещами, которые возбуждали его любопытство. Верхний этаж главного дома, где Уайтхед занимал несколько комнат, оставался для Марти закрыт, и он не раз испытывал искушение проскользнуть туда, зная, что старик занят чем-то другим, сунуть нос на запретную территорию. Подозревал, что Уайтхед использовал верхний этаж как наблюдательный пункт, откуда можно следить за приходами и уходами приспешников. Это в какой-то мере объясняло другую загадку: во время пробежек у Марти было ощущение, что за ним наблюдают. Однако он устоял перед искушением выяснить, в чем дело. Возможно, его работа того не стоила.

Когда он не работал, большую часть времени проводил в библиотеке. Там, если ему было интересно узнать о внешнем мире, лежали свежие номера журнала «Тайм», газет «Вашингтон пост», «Таймс» и нескольких других – «Монд», «Франкфуртер Альгемайне цайтунг», «Нью-Йорк таймс», которые приносил Лютер. Марти листал их в поисках лакомых кусочков, иногда брал с собой в сауну и читал там. Если уставал от газет, выбирал что-то из тысяч книг. К его радости, коллекция не выглядела грозной. В ней имелась классика мировой литературы, но рядом на полках стояли потрепанные, зачитанные издания научно-фантастических пейпербэков с кричащими, чрезмерно яркими картинками. Марти начал читать их, выбирая, прежде всего, обладателей самых непристойных обложек. Там же стоял видеомагнитофон. Той снабдил его дюжиной кассет с избранными боксерскими матчами, которые Марти систематически просматривал, повторяя любимые победы сколько душе угодно. Он мог сидеть весь вечер, наблюдая за матчами, восхищенный экономными движениями и изяществом великих бойцов. Той, как всегда предусмотрительный, снабдил Марти и парой порнографических кассет, передав их с заговорщицкой улыбкой и замечанием в духе «не ешь всё сразу». Кассеты представляли собой копии бессюжетных лент с участием анонимных пар и троек, которые сбрасывали одежду в первые тридцать секунд и приступали к делу в течение минуты. Ничего сложного, но они служили полезной цели, и, как Той, очевидно, догадался, хороший воздух, физиче-

ские упражнения и оптимизм творили чудеса с либидо Марти. Приближался момент, когда самоудовлетворение перед экраном перестанет приносить удовольствие. Марти все чаще снилась Чармейн: это были недвусмысленные сны, происходящие в спальне дома номер двадцать шесть. Неудовлетворенность придала ему смелости: в следующий раз, увидев Тоя, он попросил разрешения пойти к ней. Той пообещал спросить об этом босса, но ничего не вышло. А пока ему приходилось довольствоваться кассетами, со вздохами и пыхтением согласно сценарию.

Постепенно он начал запоминать имена тех, кто появлялся в доме чаще других – доверенных советников Уайтхеда. Той, разумеется, регулярно оказывался на виду. Был еще адвокат по фамилии Оттавей – худощавый, хорошо одетый мужчина лет сорока, которого Марти невзлюбил, стоило ему впервые открыть рот. Типичный законник, этакая стриптизерша с веерами, сплошь намеки и утайки; Марти испытал это на собственной шкуре. Воспоминания нахлынули невеселые.

Был еще один, по имени Куртсингер – человек в строгом костюме, с безобразно подобранными галстуками и еще более безобразными одеколонами, – который, хоть и часто бывал в обществе Оттавея, казался более добродушным. Один из немногих, кто признавал присутствие Марти в комнате, – обычно коротким, резким кивком. Однажды, празднуя только что заключенную сделку, Куртсингер сунул большую сигару в карман пиджака Марти; после этого Марти простил бы ему что угодно.

Третий персонаж, который, казалось, постоянно присутствовал рядом с Уайтхедом, был самым загадочным из трех: смуглый тролль по имени Двоскин. Если Той заслуживал именоваться Брутом, этот был Кассием. Его безукоризненные светло-серые костюмы, тщательно сложенные носовые платки, точность каждого жеста – все говорило о стремлении к опрятности, граничащем с одержимостью и предназначенном уравновесить его чрезмерную физическую суть. Но было и еще кое-что: Марти, у которого за годы в Уондсворте обострилось чутье, ощущал в этом человеке скрытую опасность. На самом деле, в других она тоже была. Под ледяным фасадом Оттавея и слоем сахарной глазури Куртсингера таились люди, по выражению Сомервейла, не слишком удобоваримые.

Поначалу Марти отмахивался от этого чувства как от предрассудка низшего класса: ничтожества вроде него в принципе не доверяют богатым и влиятельным. Но чем чаще он присутствовал на собраниях, чем больше острых споров слышал, тем сильнее убеждался, что в их отношениях есть едва скрываемый подтекст обмана, даже чего-то криминального. Большую часть разговоров он едва понимал, тонкости фондового рынка были для него закрытой книгой, но цивилизованный лексикон не мог полностью вымарать подлинное течение событий. Их интересовала механика лжи: как манипулировать законом и рынком в равной степени. Беседы полны рассуждений об уклонении от уплаты налогов и купле-продаже между дочерними компаниями, чтобы искусственно взвинтить цены; об упаковке плацебо под видом панацеи. В их позиции не было скрытого извинения; напротив, разговоры о незаконных маневрах, политической лояльности, купленной и проданной, воспринимались положительно. И главным среди этих манипуляторов был Уайтхед. В его присутствии они вели себя почтительно. В его отсутствии, когда боролись за позицию ближе к его ногам, они были безжалостны. Он мог – и делал это – заставить их замолчать, приподняв руку. Каждое его слово почиталось, будто оно слетало с уст Мессии. Эта шарада забавляла Марти, но, применяя эмпирическое правило, которому научился в тюрьме, он знал: чтобы заслужить такую преданность, Уайтхед должен был согрешить сильнее, чем его поклонники. В хитрости босса он не сомневался: Уайтхед уже продемонстрировал на нем свою силу убеждения. Но время шло, и все ярче вспыхивал другой вопрос: а не был ли он еще и вором? Если нет, то в чем его преступление?

## 16

Легкость, поняла она, наблюдая за бегуном из своего окна, – это всё; если не всё, то лучшая часть того, чем она наслаждалась, созерцая его. Она не знала имени, хотя могла бы спросить. Ей он больше нравился безымянным: одетый в серый спортивный костюм ангел, чье дыхание на бегу превращалось в облачко тумана на губах. Она слышала, как Перл говорила о новом телохранителе, и предположила, что это он. Разве имеет значение имя? Такие подробности могли лишь отяготить ее мифотворчество.

Это было плохое время для нее, по многим причинам, и в те неудачные утра, когда она сидела у окна, проводя минувшую ночь почти без сна, вид ангела, бегущего по лужайке или мелькающего между кипарисами, был знаком, которым она дорожила, предзнаменованием лучших времен. Регулярность его появления стала тем, на что она привыкла полагаться, и, когда сон выдавался хороший и она пропускала его появление утром, испытывала чувство явной потери в течение оставшегося дня, делая упор на то, чтобы встретиться с ним на следующее утро.

Но она не могла заставить себя покинуть солнечный остров, пересечь столько опасных рифов, чтобы добраться туда, где он. Даже сигнализировать о ее присутствии в доме было слишком рискованно. Она задумалась, был ли он хорошим детективом. Если так, вероятно, он обнаружил ее присутствие в доме каким-нибудь остроумным способом: увидел окурки ее сигарет в кухонной раковине или учуял ее запах в комнате, которую она покинула несколько минут назад. Или, возможно, ангелы, суть божества, не нуждались в таких приспособлениях. Может, он просто знал, без всяких подсказок, что она там, стоит за небом у окна или прижимается к запертой двери, когда он, насвистывая, идет по коридору.

Но тянуться к нему было бесполезно, даже если бы она нашла в себе мужество. Что она ему скажет? Ничего. И когда он неизбежно вздохнет от досады на нее и отвернется, окажется затерянной в ничейной стране, изолированной от единственного места, где чувствовала себя в безопасности, от солнечного острова, который пришел к ней из чистого белого облака, от места, подаренного ей маками, проливающими собственную кровь.

– Ты сегодня ничего не ела, – упрекнула ее Перл. Обычная жалоба. – Ты просто зачакнешь.

– Оставь меня в покое, ладно?

– Знаешь, мне придется ему сказать.

– Нет, Перл. – Карис умоляюще посмотрела на Перл. – Ничего не говори. Пожалуйста. Ты же знаешь, как он себя ведет. Я возненавижу тебя, если ты что-нибудь скажешь.

Перл стояла в дверях с подносом, на ее лице читалось неодобрение. Она не собиралась сдаваться из-за мольбы или шантажа.

– Ты опять пытаешься заморить себя голодом? – спросила она без всякого сочувствия.

– Нет. Просто у меня нет аппетита – вот и все.

Перл пожала плечами.

– Я тебя не понимаю, – сказала она. – В половине случаев ты выглядишь самоубийцей. Сегодня...

Карис лучезарно улыбнулась.

– Ну, как знаешь, – сказала женщина.

– Прежде, чем ты уйдешь, Перл...

– Что?

– Расскажи мне о бегуне.

Перл выглядела озадаченной: это было не похоже на девушку – проявлять интерес к происходящему в доме. Карис оставалась здесь, наверху, за закрытыми дверями, и грезилась. Но сегодня она была настойчива.

– Тот, который каждое утро бежит до изнеможения. В спортивном костюме. Кто он такой?

Что плохого в том, чтобы рассказать ей? Любопытство – признак здоровья, а она не могла похвастать ни тем ни другим.

– Его зовут Марти.

Марти. Карис в мыслях примерила имя, и оно ему очень подошло. Ангела звали Марти.

– Марти... а дальше?

– Не помню.

Карис встала. Улыбка исчезла. У нее был тот жесткий взгляд, который появлялся, когда она действительно чего-то хотела; уголки ее рта опустились. Этот взгляд она унаследовала от мистера Уайтхеда, и Перл его боялась. Карис это знала.

– Ты же знаешь мою память, – извиняющимся тоном сказала Перл. – Я не помню его фамилии.

– Ну, и кто же он?

– Телохранитель твоего отца, занял место Ника, – ответила Перл. – Судя по всему, он бывший заключенный. Вооруженное ограбление.

– Неужели?

– А еще ему явно надо обучиться светским манерам.

– Марти.

– Штраус, – сказала Перл с ноткой торжества в голосе. – Мартин Штраус – вот оно.

Ну вот, его называли, подумала Карис. В том, чтобы назвать кого-то, была примитивная сила. Это давало представление о человеке. Мартин Штраус.

– Спасибо, – сказала она, искренне радуясь.

– А зачем тебе это знать?

– Просто интересно, кто он такой. Люди приходят и уходят.

– Ну, я думаю, он останется, – сказала Перл и вышла из комнаты. Когда она закрывала за собой дверь, Карис спросила:

– У него есть второе имя?

Но Перл не услышала.

Казалось странным думать, что бегун был заключенным; в каком-то смысле он оставался таковым, бегая взад-вперед по территории, вдыхая чистый воздух, выдыхая облака, хмурясь на бегу. Возможно, он лучше, чем старик, Той или Перл, поймет, каково это – быть на солнечном острове и не знать, как оттуда выбраться. Или, что еще хуже, знать, как это сделать, но не решаться, боясь не вернуться в безопасное место.

Теперь, когда она знала его имя и его преступление, романтика утренней пробежки не была испорчена этой информацией. Он по-прежнему был осенен благодатью; но теперь она видела тяжесть его тела, тогда как раньше замечала только легкость его шага.

После целой вечности колебаний она решила, что созерцания недостаточно.

Чем крепче становился Марти, тем больше требовал от себя во время утренней пробежки. Круг, который он делал, становился все шире, хотя теперь он покрывал большее расстояние за то же время, что и меньшее. Иногда, чтобы добавить пикантности упражнению, он нырял в лес, не обращая внимания на подлесок и низкие ветви, его ровный шаг вырождался в спонтанную коллекцию прыжков и перебежек. По другую сторону леса находилась запруда, и здесь, если Марти был в настроении, мог остановиться на несколько минут. У запруды жили

цапли; трех он уже видел. Скоро наступит время гнездования, и они, вероятно, создадут пару. Интересно, что будет с третьей птицей? Улетит он или она в поисках собственной пары или задержится, замыслив прелюбодеяние? Об этом скажут предстоящие недели.

Иногда, завороченный тем, как Уайтхед наблюдает за ним с верхнего этажа, он замедлял шаг, проходя мимо, в надежде увидеть его лицо. Но наблюдатель был слишком осторожен, чтобы попасться на эту уловку.

Однажды утром она ждала Марти у голубятни, когда он делал длинный поворот назад к дому, и он сразу понял, что ошибся насчет того, что за ним шпионил старик. Вот кто осторожный наблюдатель у верхнего окна. Было всего без четверти семь утра и еще холодно. Она давно ждала, судя по румянцу на щеках и носу. Ее глаза блестели от холода.

Он остановился, выпуская пар, как тяговый двигатель.

– Привет, Марти, – сказала она.

– Привет.

– Ты меня не знаешь.

– Нет.

Она плотнее закуталась в свое шерстяное пальто. Она была худая и выглядела лет на двадцать, не больше. Ее глаза, такие темно-карие, что с трех шагов казались черными, впились в него словно когти. Румяное лицо было широким и без косметики. Она выглядела, подумал он, изможденной. Он выглядел, как ей показалось, изголодавшимся.

– Ты с верхнего этажа, – рискнул сказать он.

– Да. Ты ведь не возражал, что я шпионила? – простодушно осведомилась она.

– С чего бы?

Она протянула тонкую руку без перчатки к каменной стене голубятни.

– Красиво, правда? – сказала она.

Здание никогда раньше не казалось Марти даже интересным, было лишь ориентиром, по которому легко отмерять темп пробежки.

– Это одна из самых больших голубятен в Англии, – сказала она. – Ты об этом знал?

– Нет.

– Внутри бывал?

Он покачал головой.

– Странное место, – сказала она и повела его вокруг бочкообразного здания к двери. Она с трудом открыла ее: от сырости дерево разбухло. Марти пришлось согнуться пополам, чтобы последовать за ней внутрь. Там было еще холоднее, чем снаружи, и он дрожал, пот на лбу и груди остывал, теперь, когда он перестал бежать. Но это было, как она и обещала, странно: всего одна круглая комната с отверстием в крыше, чтобы птицы могли прилетать и улетать. Стены усеяны квадратными отверстиями, по-видимому гнездовыми нишами, расположенными ровными рядами – как окна многоквартирного дома – от пола до крыши. Все они были пусты. Судя по отсутствию экскрементов или перьев на полу, здание не использовалось много лет. Заброшенность придавала ему меланхолический вид; уникальная архитектура делала его бесполезным для любой функции, кроме той, для которой оно было построено. Девушка прошла по утоптанному земляному полу и теперь считала гнездовые ниши, начиная от двери.

– Семнадцать, восемнадцать...

Он смотрел ей в спину. Ее волосы были неровно подстрижены на затылке. Пальто, которое она носила, слишком велико, и даже не ее, догадался он. Кто она такая? Дочь Перл?

Она перестала считать и просунула руку в одно из отверстий, издав тихий возглас первооткрывательницы, когда пальцы нашли что-то. Это тайник, понял он: ему собирались доверить тайну. Она повернулась и показала свое сокровище.



– Я забыла, пока не вернулась, – сказала она, – что здесь прятала.

Это была окаменелость или, скорее, фрагмент одной из них, спиральная раковина, лежавшая на дне какого-то докембрийского моря, прежде чем мир позеленел. В канавках, которые она поглаживала, собирались пылинки. Наблюдая за тем, как она увлечена этим куском камня, Марти вдруг подумал, что девушка не совсем в своем уме. Но эта мысль исчезла, когда она посмотрела на него: ее глаза слишком ясные, взгляд – слишком упрямый. Если в ней и было безумие, то намеренное, сумасшедшинка, которую она с удовольствием принимала. Она улыбнулась ему так, словно знала, о чем он думает: хитрость и обаяние смешались на лице поровну.

– Значит, здесь нет голубей? – сказал он.

– Нет, не было, пока я здесь.

– Даже парочки?

– Если держать лишь несколько птиц, они умирают зимой. Если держишь полную голубятню, птицы согревают друг друга. Но когда их мало, они не вырабатывают достаточно тепла и замерзают до смерти.

Он молча кивнул. Казалось прискорбным, что здание пустует.

– Его надо опять наполнить.

– Не знаю, – ответила она. – Мне нравится, когда все так.

Она сунула окаменелость обратно в тайник.

– Теперь ты знаешь мое особое место, – сказала она, и хитрость исчезла; она была вся очарование. Он был очарован.

– Я не знаю твоего имени.

– Карис, – сказала она и, помолчав, добавила: – Это валлийский.

– О-о.

Он не мог перестать смотреть на нее. Она вдруг смутилась и быстро вернулась к двери, нырнув на свежий воздух. Начался дождь, мягкий морозящий дождь середины марта. Она накинула капюшон своего пальто, он – капюшон спортивного костюма.

– Может, покажешь мне остальное поместье? – спросил он, не уверенный, что это правильный вопрос, но более чем уверенный, что ему не хочется, чтобы разговор закончился здесь без возможности новой встречи. Вместо ответа она издала какой-то неопределенный звук. Уголки ее рта были опущены вниз.

– Завтра? – предложил он.

Теперь она вообще не ответила. Вместо этого направилась к дому. Он поплелся следом, зная, что их разговор увянет, если он не найдет способ сохранить его в живых.

– Странно жить в таком доме и не иметь собеседника, – сказал он.

Это будто задело ее за живое.

– Это папин дом, – просто сказала она. – Мы в нем обитаем.

Папа. Значит, его дочь. Теперь Марти понял, что у нее отцовский рот: гримаса с опущенными уголками рта придавала Уайтхеду весьма стоический вид, а ей – просто печальный.

– Никому не говори, – сказала она.

Марти предположил, что речь об их встрече, но не стал выяснять наверняка. Были вопросы и поважнее, только бы она не сбежала. Он хотел продемонстрировать свой интерес к ней, но не мог придумать, что сказать. Внезапная перемена траектории беседы, которая из эллипса превратилась в зигзаг, сбила его с толку.

– Ты в порядке? – спросил он.

Она бросила на него взгляд, лицо под капюшоном показалось почти скорбным.

– Надо спешить, – сказала она. – Меня ищут.

Карис ускорила шаг, чуть ссутулив плечи и тем самым давая понять, что ему следует отстать. Он подчинился и дал ей возможность вернуться в дом, даже не взглянув в его сторону и не помахав рукой.

Вместо того чтобы вернуться на кухню, где пришлось бы терпеть болтовню Перл на протяжении завтрака, он пошел обратно через поле, обходя голубятню стороной, пока не добрался до забора по периметру, и наказал себя еще одним полным кругом. Когда он вбежал в лес, невольно начал всматриваться в землю под ногами в поисках окаменелостей.

## 17

Два дня спустя, около половины двенадцатого вечера, он получил весточку от Уайтхеда.  
– Я в кабинете, – сказал шеф по телефону. – Хочу поговорить с тобой.

В кабинете, хоть там и было с полдюжины ламп, царила почти полная тьма. Горела только настольная лампа с изогнутой ножкой, но ее свет падал не в комнату, а на груды бумаг. Уайтхед сидел в кожаном кресле у окна. На столе рядом с ним стояла бутылка водки и почти пустой стакан. Он не обернулся, когда Марти постучал и вошел, а просто обратился к нему со своего наблюдательного пункта перед освещенной лужайкой.

– Думаю, пришла пора немного ослабить твой поводок, Штраус, – сказал он. – До сих пор ты прекрасно справлялся. Я очень доволен.

– Благодарю вас, сэр.

– Билл Той будет здесь завтра ночью, Лютер тоже, так что у тебя есть возможность съездить в Лондон.

Прошло восемь недель, почти день в день, с тех пор как он прибыл в поместье, и наконец появился робкий признак того, что здесь можно закрепиться.

– Я попросил Лютера подобрать для тебя машину. Поговори с ним об этом, когда он приедет. И на столе для тебя лежат деньги...

Марти бросил взгляд на стол – там действительно лежала стопка банкнот.

– Ну же, бери.

У Марти зачесались пальцы, но он сдержал свой энтузиазм.

– Это покроет бензин и ночь в городе.

Марти не стал пересчитывать банкноты, просто сложил их и сунул в карман.

– Благодарю вас, сэр.

– Там еще есть адрес.

– Да, сэр.

– Возьми его. Магазин принадлежит человеку по фамилии Галифакс. Он снабжает меня клубникой вне сезона. Не мог бы ты забрать мой заказ, пожалуйста?

– Конечно.

– Это единственное поручение, которое тебе надлежит выполнить. Если вернешься к полудню субботы, остальное время можешь провести на свое усмотрение.

– Спасибо.

Рука Уайтхеда потянулась к стакану с водкой, и Марти подумал, что сейчас он обернется и посмотрит на него; но этого не произошло.

– Это всё, сэр?

– Всё? Полагаю, да. Не так ли?

Прошло много месяцев с тех пор, как Уайтхед ложился спать трезвым. Он пристрастился использовать водку как снотворное, когда начались ночные кошмары: сначала просто стакан или два, чтобы притупить страх, затем постепенно увеличивая дозу, поскольку со временем его организм стал невосприимчив к алкоголю. Он не находил удовольствия в пьянстве. Ему было противно класть кружащуюся голову на подушку и слушать, как от мыслей свистит в ушах. Но еще сильнее он боялся этого страха.

Теперь, когда он сидел, наблюдая за лужайкой, лиса переступила границу света от прожекторов, побледнев от яркой иллюминации, и уставилась на дом. Неподвижность придавала зверю совершенство; глаза на заостренной мордочке блестели, отражая свет. Лиса промедлила лишь миг. Внезапно она почуяла опасность – возможно, собак, – поджала хвост и исчезла. Уайтхед все еще смотрел на то место, откуда она умчалась, долго после того, как лисы и след простыл, надеясь вопреки всему, что она вернется и разделит на некоторое время его одиночество. Но ночью у зверя есть другие дела.

Было время, когда он был лисом: поджарым и проницательным ночным странником. Но все изменилось. Провидение оказалось щедрым, мечты сбывались, и лис, всегда менявший облик, стал жирной и легкой добычей. Мир тоже изменился: он превратился в географию прибылей и убытков. Расстояния сократились до пределов его власти. С течением времени он успел забыть прошлую жизнь. Но в последнее время вспоминал о ней все чаще и чаще. Она возвращалась в блестящих, но укоризненных подробностях, а события вчерашнего дня были как в тумане. Хотя в глубине души он знал: пути назад к благословенному состоянию нет.

Куда вел путь отсюда вперед? Это было путешествие в безнадежное место, где ни один указатель не подскажет, направо ему или налево – все направления равнозначны, – и нет ни холма, ни дерева, ни жилья, чтобы отметить дорогу. Такое место. Такое ужасное место.

Но там он будет не один. В этом *нигде* у него будет спутник.

И когда настанет время, и он узрит те края и их владыку, пожалеет, – о Господи, как он пожалеет, – что не остался лисом.

### III. Последний европеец

#### 18

Энтони Брир, Пожиратель Бритв, вернулся в свою крошечную квартирку ближе к вечеру, сделал себе растворимый кофе в любимой чашке, затем сел за стол в тусклом свете и начал завязывать петлю. Он с утра знал, что сегодня – тот самый день. Нет нужды спускаться в библиотеку; если со временем они заметят его отсутствие и напишут ему, требуя сообщить, где он, он не ответит. Кроме того, небо на рассвете выглядело таким же грязным, как его простыни, и, будучи рациональным человеком, он подумал: зачем беспокоиться о том, чтобы постирать простыни, когда мир так грязен, и я так грязен, и нет никакого шанса когда-либо очистить то или другое? Лучше раз и навсегда покончить с жалким существованием.

Он много раз видел повешенных. Только фотографии, разумеется, в украденной с работы книге о военных преступлениях с пометкой «Не для общедоступных полок. Выдается только по запросу». Предупреждение распалило его фантазии: вот книга, которую люди не должны видеть. Он сунул ее в сумку, не открывая и зная по названию – «Советские документы о зверствах нацистов», – что эта книга почти так же сладка в предвкушении, как и во время чтения. Но в этом он ошибался. Как бы ни был восхитителен тот день, зная, что в его сумке находится запретное сокровище, наслаждение, – ничто по сравнению с откровениями самой книги. Там были фотографии сгоревших развалин чеховской дачи в Истре и оскверненной резиденции Чайковского. В основном – что еще важнее – там имелись фотографии погибших. Некоторые из них были свалены в кучи, другие лежали в кровавом снегу, замерзшие. Дети с проломленными черепами, люди в окопах с простреленными лицами, другие – со свастикой, вырезанной на груди и ягодицах. Но для жадных глаз Пожирателя Бритв лучшими фотографиями были повешенные. На одного Брир смотрел очень часто. Снимок изображал красивого молодого человека, которого вздергивали на самодельной виселице. Фотограф застал его в последний момент, когда он смотрел прямо в камеру со слабой и блаженной улыбкой на лице.

Брир хотел, чтобы именно такое выражение обнаружили на его лице, когда взломают дверь этой комнаты и найдут его подвешенным здесь, кружащимся на сквозняке из коридора. Он думал о том, как они будут смотреть на него, охать и ахать, качать головами, удивляясь бледным белым ступням и его смелости в этом невероятном деле. Размышляя, он завязывал и развязывал петлю, решив сделать все настолько профессионально, насколько возможно.

Единственной его тревогой было признание. Несмотря на то, что он изо дня в день работал с книгами, слова не являлись его сильной стороной: они ускользали от него, как красота из его толстых пальцев. Но он хотел сказать что-нибудь о детях, просто чтобы они знали – люди, которые найдут его и сфотографируют, – что имеют дело не с каким-нибудь ничтожеством, а с человеком, который сделал худшие вещи в мире по самым лучшим из возможных причин. Это было крайне важно: чтобы они знали, кто он такой, потому что, вероятно, со временем они поймут его так, как он никогда не мог понять.

Он знал, что существуют методы допроса, применимые даже к мертвецам. Они положат его в холодильник и тщательно осмотрят, а когда изучат снаружи, начнут проверять внутренности, и – ух! – что там найдут... Они отпилят ему верхнюю часть черепа и извлекут мозг; проверят на наличие опухолей, нарежут тонкими ломтиками, как дорогую ветчину, исследуют сотнями способов, чтобы выяснить, почему и как он был устроен. Но ведь это не сработает, правда? Он, как никто другой, должен это знать. Если разрезать живую и прекрасную вещь, чтобы узнать, почему она жива и прекрасна, не успеешь опомниться, как она – уже ни то ни другое, и ты стоишь с кровью на лице и слезами в глазах, чувствуя лишь жуткие угрызения

совести. Нет, из его мозга не извлекут ничего, придется искать дальше. Им придется вскрыть его, как застужку-молнию, от шеи до паха, взломать грудную клетку и отворить ребрами наружу – лишь так получится размотать кишки, порыться в животе, жонглируя печенью и легкими. И там, о да, там найдется то, чем можно залюбоваться.

Может, это и было лучшим признанием, размышлял он, в последний раз пробуя петлю. Бесплезно пытаться подобрать правильные слова. Ведь что такое слова вообще? Мусор, бесполезный для горячей сути вещей. Нет, они найдут все, что им нужно знать, если заглянут внутрь него. Историю потерянных детей, славу его мученичества. И они узнают раз и навсегда, что он был из племени Пожирателей Бритв.

Он покончил с петлей, налил себе вторую чашку кофе и принялся закреплять веревку. Сначала он снял лампу, свисавшую с середины потолка, потом привязал петлю на ее место. Веревка держалась крепко. Он на несколько мгновений повис на ней, чтобы убедиться в этом, и хотя балки слегка скрипели, а на голову сыпалась штукатурка, она выдержала его вес.

К этому времени наступил ранний вечер, и он выдохся; усталость делала его более неуклюжим, чем обычно. Он заметался по комнате, приводя ее в порядок. Его жирное, как у свиньи, тело сотрясало от вздохов, когда он сворачивал испачканные простыни и убирал их с глаз долой, споласкивал свою кофейную чашку и осторожно выливал молоко, чтобы оно не свернулось до того, как кто-нибудь придет. Работая, он включил радио, чтобы заглушить звук опрокидываемого стула, когда придет время: в доме были и другие люди, и он не хотел отсрочки в последнюю минуту. Обычные банальности с радиостанции заполнили комнату: песни о любви, потере и вновь обретенной любви. Злобная и болезненная ложь, от первого слова до последнего.

Когда он закончил приводить комнату в порядок, сил почти не осталось. Он слышал шаги в коридоре и как где-то в доме открывались двери – жильцы других квартир возвращались с работы. Они, как и он, жили одни. Он не знал ни одного из них по имени; никто из них, увидев его в сопровождении полиции, не узнал бы его.

Он полностью разделся и вымылся в раковине, его яички были маленькими, как грецкие орехи, и плотно прилегали к телу, дряблый живот – жир грудей и предплечий – дрожал, когда холод сотрясал его. Удовлетворенный своей чистотой, он сел на край матраса и подстриг ногти на ногах. Затем переоделся в свежестыранную одежду: голубую рубашку, серые брюки. На нем не было ни обуви, ни носков. Он стыдился своего тела, его единственной гордостью были ступни.

К тому времени, как он закончил приготовления, почти стемнело, ночь была черной и дождливой. «Пора уходить», – подумал он.

Осторожно поставил стул, взобрался на него и потянулся за веревкой. Петля была, пожалуй, на дюйм или два выше, чем нужно, и ему пришлось встать на цыпочки, чтобы плотно затянуть ее на шее. Он надежно закрепил петлю, слегка маневрируя. Как только узел туго затянулся, прочел молитву и опрокинул стул.

Паника началась немедленно. Его руки, которым он всегда доверял, предали его в этот жизненно важный момент: рванулись к затягивающейся петле, пытаясь ее сдернуть. Падение не сломало шею, но хребет превратился в огромную сороконожку, вшитую в спину, которая теперь извивалась всеми возможными способами, вызывая судороги в ногах. Боль оказалась наименьшей из проблем: по-настоящему мучительным было утратить контроль; обонять смрад опорожненного кишечника, против его воли извергнувшегося в чистые брюки; чувствовать, как пенис затвердел без единой похотливой мысли в лопающейся голове и как пятки бьют по воздуху в поисках опоры, а пальцы впиваются в веревку. Все будто перестало ему принадлежать и слишком пылко сражалось за собственную сохранность, чтобы застыть и умереть.

Но все усилия тела были напрасны – он слишком тщательно все спланировал, чтобы дело пошло наперекосяк. Веревка сильнее натягивалась, конвульсии сороконожки ослабевали.

Жизнь, этот незванный гость, скоро уйдет. В голове у него было очень шумно, будто он находился под землей и слышал все звуки, какие она производила. Шорохи, рев мощных скрытых потоков, бульканье расплавленного камня. Брир, великий Пожиратель Бритв, очень хорошо знал землю. Он слишком часто хоронил в ней мертвую красоту и набивал рот почвой в знак раскаяния за содеянное, пережевывал, когда накрывал их постельные тела. Теперь шум земли заглушил все – его судорожное дыхание, музыку из радиоприемника и гул уличного движения за окном. Зрение тоже ухудшилось: кружевная тьма поползла по комнате, ее узоры пульсировали. Он знал, что поворачивается – видел то кровать, то шкаф, то раковину, – но очертания, которые урывками замечал, становились все более расплывчатыми.

Его тело отказалось от славной битвы. Возможно, язык вывалился наружу, а может, ему почудилось это движение, как и то, что кто-то зовет его по имени.

Внезапно зрение полностью исчезло, и смерть настигла его. Поток сожалений не сопровождал конец, и жизнь с ее накипью из угрызений совести не пронеслась перед глазами в обратном порядке с быстротой молнии. Просто тьма, и еще более темная тьма, а за ней – такая чернота, по сравнению с которой ночь казалась преисполненной сияния. Все завершилось без труда.

Или нет, не завершилось.

Не совсем. Множество неприятных ощущений нахлынуло на него, вторгаясь в уединенность смерти. Легкий ветерок согрел лицо, воздействуя на нервные окончания. Дыхание непрощеным гостем ворвалось в обмякшие легкие, от чего гортань судорожно сжалась.

Он сопротивлялся, не желая воскресать, но спаситель был настойчив. Комната вокруг начала собираться заново. Сначала свет, потом форма. Теперь цвет, хоть и тусклый, грязный. Звуки – огненные реки и жидкий камень – исчезли. Он слышал собственный кашель и чувствовал запах собственной рвоты. Отчаяние насмехалось над ним. Неужели он не преуспее даже в том, чтобы покончить с собой?

Кто-то произнес его имя. Он покачал головой, но голос раздался снова, и на этот раз его открывшиеся глаза нашли лицо.

Ах, это был не конец: далеко не конец. Он не попал ни в рай, ни в ад. Ни то ни другое не смело соперничать с лицом, в которое он сейчас смотрел.

– Я думал, что потерял тебя, Энтони, – сказал Последний Европейец.

## 19

Он поправил стул, на котором Брир стоял во время попытки самоубийства, и теперь сидел на нем, выглядя таким же незапятнанным, как всегда. Брир попытался что-то сказать, но язык казался слишком толстым для рта, и, когда он пощупал его, пальцы оказались в крови.

– Ты прикусил язык от энтузиазма, – сказал Европейец. – Какое-то время не сможешь ни есть, ни говорить. Но это заживет, Энтони. Все заживает со временем.

У Брира не было сил подняться с пола; все, что он мог, это лежать там с петлей, туго затянутой вокруг шеи, и глядеть на обрывок веревки, свисающий с крюка для лампы. Европейец, очевидно, просто срезал его и дал телу упасть. Брира затрясло, его зубы стучали, как у обезумевшей обезьяны.

– У тебя шок, – сказал Европейец. – Полежи тут... А я приготовлю чай, да? Сладкий чай – то, что нужно.

Это потребовало некоторых усилий, но Бриру удалось подняться с пола и забраться на кровать. Его брюки были испачканы спереди и сзади: он чувствовал себя отвратительно. Но Европейец не возражал. Он прощал все, Брир знал это. Ни один другой человек, которого Брир когда-либо встречал, не был так способен на прощение; ему было стыдно находиться в обще-

стве и под опекой того, кому гуманность давалась так просто. Этот человек знал его тайную испорченную суть и ни разу не произнес ни слова осуждения.

Приподнявшись на кровати и чувствуя, как в измученном теле вновь появляются признаки жизни, Брир наблюдал за Европейцем, который заваривал чай. Они были очень разными. Брир всегда испытывал благоговейный трепет перед этим человеком. Но разве Европейец не сказал ему однажды: «Я – последний из своего племени, Энтони, как ты – последний из своего. Мы во многом похожи»? Брир не понял значения этого замечания, когда впервые услышал его, но со временем все осознал. «Я – последний настоящий европеец, а ты – последний из Пожирателей Бритв. Мы должны попытаться помочь друг другу». И Европейец продолжал делать именно это, спасая Брира от того, чтобы оказаться пойманным, в двух-трех случаях, празднуя его прегрешения, уча его, что быть Пожирателем Бритв – достойное положение. В обмен на эту науку он почти ничего не просил: пара-тройка незначительных услуг, и все. Но Брир не был настолько доверчив, чтобы не заподозрить, что настанет время, когда Последний Европейец – пожалуйста, зови меня мистер Мамулян, говорил он, но у Брира ни разу не повернулся язык произнести это комичное имя, – этот странный компаньон, в свою очередь, попросит о помощи. И это будет не ерунда, а что-то жуткое; Брир знал – и страшился.

Умирая, он надеялся избежать уплаты долга, черед которой должен был прийти. Чем дольше он находился вдали от мистера Мамуляна – прошло шесть лет с их последней встречи, – тем сильнее воспоминания о нем пугали Брира. Образ Европейца не поблек со временем, совсем наоборот. Его глаза, руки, ласковый голос оставались кристально чистыми, в то время как вчерашние события превращались в туман. Будто Мамулян никогда не уходил совсем и оставил частичку себя в голове Брира, чтобы отполировать свой образ, испачканный временем; чтобы следить за каждым поступком своего слуги.

Неудивительно, что этот человек появился в нужный момент, прервав сцену смерти, прежде чем она успела завершиться. Неудивительно и то, что сейчас он разговаривал с Бриром так, словно они не расставались, он был любящим мужем, а Пожиратель Бритв – преданной женой, и минувших лет словно не бывало. Брир наблюдал, как Мамулян ходит от раковины к столу, готовит чай, находит чайник, расставляет чашки, выполняя каждый домашний акт с гипнотической экономностью. Теперь он знал – долг следует уплатить. Темноты не будет, пока за нее не заплатят. При этой мысли Брир тихо зарыдал.

– Не плачь, – сказал Мамулян, стоявший у раковины, не оборачиваясь.

– Я хотел умереть, – пробормотал Брир. Казалось, его рот набит галькой.

– Ты еще не можешь погибнуть, Энтони. Ты должен мне немного времени. Неужели не понимаешь этого?

– Я хотел умереть, – только и смог повторить Брир в ответ. Он старался не испытывать ненависти к Европейцу, потому что тот знал бы об этом. Он наверняка почувствует это и, возможно, выйдет из себя. Но это было так трудно: сквозь рыдания клокотала обида.

– Неужели жизнь обошлась с тобой плохо? – спросил Европейец.

Брир фыркнул. Ему был нужен не отец-исповедник, а темнота. Неужели Мамулян не может понять, что ему не нужны ни объяснения, ни лечение? Он был дерьмом на ботинке полудурка, самой никчемной и непоправимой вещью в мире. Собственный образ в качестве Пожирателя Бритв, последнего из некогда ужасного племени, сохранял его самооценку нетронутой несколько опасных лет, но фантазия давно потеряла силу, позволявшую обращать мерзость в святость. Один и тот же фокус дважды не сработает. И это был фокус, всего лишь фокус. Брир знал это и еще больше ненавидел Мамуляна за его манипуляции. «Я хочу умереть», – только и смог он подумать.

Он произнес эти слова вслух? Он не слышал, как заговорил, но Мамулян ответил так, будто слышал.

– Конечно, ты хочешь. Я понимаю, правда, понимаю. Ты думаешь, что все это иллюзия: племена и мечты о спасении. Но, поверь мне, это не так. В этом мире еще есть цель. Для нас обоих.

Брир провел тыльной стороной ладони по опухшим глазам и попытался сдержать рыдания. Его зубы больше не стучали – уже кое-что.

– Неужели годы были так жестоки? – спросил Европейец.

– Да, – угрюмо ответил Брир.

Гость кивнул, глядя на Пожирателя Бритв с сочувствием в глазах – или с его адекватной иллюзией.

– По крайней мере, они не заперли тебя, – сказал он. – Ты был очень осторожен.

– Ты научил меня этому, – признал Брир.

– Я показал то, что ты уже знал, но от растерянности не мог продемонстрировать другим людям. Если забыл, могу показать еще раз.

Брир посмотрел на чашку сладкого чая без молока, которую Европейец поставил на прикроватный столик.

– ...Или ты мне больше не доверяешь?

– Все изменилось, – пробормотал Брир, ворочая опухшим языком.

Теперь настала очередь Мамуляна вздохнуть. Он снова сел на стул и отхлебнул чаю, прежде чем ответить.

– Да, боюсь, ты прав. Здесь для нас остается все меньше места. Но значит ли это, что мы должны сдаться и умереть?

Глядя на мрачное аристократическое лицо, на затравленные впадины его глаз, Брир начал вспоминать, почему доверял этому человеку. Страх, который он испытывал, таял, гнев тоже. В воздухе повисло спокойствие, и оно просачивалось в организм Брира.

– Пей свой чай, Энтони.

– Спасибо.

– А потом, я думаю, тебе следует сменить брюки.

Брир покраснел; он ничего не мог с собой поделать.

– Твое тело отреагировало совершенно естественно, нечего стыдиться. Этот мир держится благодаря сперме и дерьму.

Европейец негромко рассмеялся в свою чашку, и Брир, не чувствуя насмешки, присоединился к нему.

– Я никогда не забывал тебя, – сказал Мамулян. – Я сказал, что вернусь за тобой, и имел в виду то, что сказал.

Брир покрутил чашку в руках, которые еще дрожали, и встретился взглядом с Мамуляном. Взгляд был таким же непостижимым, каким он его помнил, но он ощутил теплоту в адрес этого человека. Как сказал Европейец, он не забыл и не ушел, чтобы никогда не вернуться. Может, у него были свои причины находиться здесь сейчас или он пришел выжать деньги из давнего должника. Но это лучше, не так ли, чем быть полностью забытым?

– Зачем возвращаться сейчас? – спросил он, отставляя чашку.

– У меня есть дело, – ответил Мамулян.

– И тебе нужна моя помощь?

– Совершенно верно.

Брир кивнул. Слезы полностью прекратились. Чай пошел ему на пользу: он чувствовал себя достаточно сильным, чтобы задать пару дерзких вопросов.

– А как же я? – пришел вопрошающий ответ.

Европейец нахмурился, услышав эти слова. Лампа рядом с кроватью мигнула, будто лампочка была в критической точке и вот-вот перегорит.

– А как же ты? – переспросил он.



Брир понимал, что находится на опасной почве, но был полон решимости не поддаваться слабости. Если Мамуляну нужна помощь, он должен предоставить что-то взамен.

– Что мне за это будет?

– Ты можешь снова быть со мной, – сказал Европейец.

Брир хмыкнул. Предложение не слишком заманчивое.

– Разве этого недостаточно? – поинтересовался Мамулян. Свет лампы становился все более прерывистым, и Бриру внезапно расхотелось дерзить.

– Ответь мне, Энтони, – настаивал Европейец. – Если у тебя есть возражения, озвучь их.

Мерцание усиливалось, и Брир понял, что совершил ошибку, настаивая на заключении сделки с Мамуляном. Почему он не помнил, что Европейец одинаково ненавидит торговлю и торгашей? Он инстинктивно потрогал борозду от петли на шее. Она была глубокой и не проходила.

– Извини... – сказал он весьма жалким тоном.

Перед тем, как лампочка погасла, он увидел, как Мамулян покачал головой. Еле заметно – будто у него был нервный тик. Затем комната погрузилась в темноту.

– Ты со мной, Энтони? – пробормотал Последний Европейец.

Голос, обычно такой ровный, исказился до неузнаваемости.

– Да... – ответил Брир.

Его глаза почему-то не желали привыкать к темноте с обычной скоростью. Он прищурился, пытаясь разглядеть очертания Европейца в окружающем мраке. Зря утруждался. Через несколько секунд в противоположном конце комнаты что-то вспыхнуло, и внезапно – чудесным образом – Европейец вспылал.

Когда от зловещей пляски огней рассудок Брира пошатнулся, чай и извинения были забыты; тьма и сама жизнь – тоже; осталось лишь время в комнате, вывернутой наизнанку, полной ужасов и лепестков, где можно таращиться во все глаза и, если удастся осознать абсурдность происходящего, тихонько молиться.

## 20

Оставшись один в убогой однокомнатной квартире Брира, Последний Европейец сел и разложил пасьянс своей любимой колодой карт. Пожиратель Бритв оделся и вышел, чтобы насладиться ночью. Сосредоточившись, Мамулян мог отыскать паразита мысленным усилием и попробовать на вкус то, что испытывал другой человек. Но у него не было аппетита к подобным играм. Кроме того, он прекрасно знал, что будет делать Пожиратель Бритв, и это вызывало у него неприкрытое отвращение. Все плотские устремления, обычные или извращенные, приводили его в ужас, и с возрастом гадливость усиливалась. Бывали дни, когда он едва мог смотреть на человеческое животное, не замечая блуждающего блеска его глаз или тошнотворного розового языка. Но Брир был полезен в предстоящей борьбе, и причудливые желания позволяли ему понимать, пусть и в грубом приближении, трагедию Мамуляна; понимание делало его более покладистым помощником, чем обычные товарищи, которых Европейец терпел на протяжении своей весьма долгой жизни.

Большинство мужчин и женщин, которым Мамулян доверял, предали его. Эта закономерность повторялась так часто на протяжении десятилетий, что он был уверен, что однажды станет нечувствительным к боли, которую причиняли предательства. Но он так и не достиг драгоценного безразличия. Жестокость других людей – их бессердечное обращение с ним – никогда не переставала ранить его, и хотя он протягивал свою милосердную руку ко всевозможным искалеченным душам, неблагодарность была непростительна. Может, размышлял он, когда эндшпиль закончится – он соберет свои долги кровью, страхом и ночью, – вероятно, он избавится от ужасного зуда, мучившего день и ночь, подталкивающего без надежды на покой

к новым амбициям и новым предательствам. Может, когда все это закончится, он сможет лечь и умереть.

Колода в его руке была порнографической. Он играл ею, только когда ощущал в себе силу, причем делал это в одиночестве. Работа с образами крайней чувственности была испытанием, которое он сам себе определил: если уж терпеть неудачу, пусть этого никто не увидит. Но сегодня мерзость карт обозначала лишь человеческий разврат; их можно было перевернуть рубашками вверх и не огорчаться. Он даже оценил остроумие колоды: каждая масть подробно описывала разные области сексуальной активности, числовые значения были вписаны в замысловато вырисованные картинки. Червы представляли мужское/женское соитие, хотя ни в коем случае не ограничивались миссионерской позицией. Пики изображали оральный секс, от простой фелляции до более сложных разновидностей. Трефы – анальный; на числовых картах была гомосексуальная и гетеросексуальная содомия, на фигурных – совокупления с животными. Бубны, самая изящная из мастей, описывали садомазохизм, и здесь воображение художника не знало границ. На этих картах мужчины и женщины терпели всевозможные унижения, их измученные тела несли ромбовидные раны, обозначающие каждую карту.

Самым вульгарным в колоде был джокер-копрофил, с вытаращенными от жадности глазами сидящий перед тарелкой с дымящимися экскрементами; покрытая струпьями обезьяна с лысой мордой, ужасно похожей на человеческую, демонстрировала зрителю обнаженный сморщенный зад.

Мамулян взял карту и внимательно рассмотрел картинку. Ухмыляющаяся физиономия жрущего дерьмо шута вызвала полную горечи улыбку на его бескровных губах. Это, несомненно, был безупречный портрет человека как такового. Другие картинки на картах, с их претензиями на любовь и физическое наслаждение, лишь на время скрывали эту ужасную истину. Рано или поздно, каким бы зрелым ни было тело, каким бы прекрасным ни было лицо, какое бы богатство, власть или вера ни маячили впереди, человека подводили к столу, стонущему под тяжестью его собственных экскрементов, и заставляли есть, даже если его инстинкты бунтовали.

Вот для чего он здесь – чтобы заставить человека жрать дерьмо.

Он бросил карту на стол и разразился лающим смехом. Недалек час мучений, час жутких сцен.

Нет в мире пропасти настолько глубокой, пообещал он комнате, картам и чашкам, всему нечистому миру.

Нет в мире пропасти настолько глубокой.

## IV. Танец скелетов <sup>8</sup>

### 21

Человек в подземке называл созвездия:

– Андромеда... Ursa, Медведица... Cygnus, Лебедь...

Его монолог по большей части игнорировали, хотя, когда двое парней велели ему заткнуться, он ответил, почти не изменив ритм именованья, с улыбкой вставив «вы за это сдохнете» между одной звездой и другой. Ответ заставил крикуна умолкнуть, и сумасшедший вернулся к наблюдению за небом.

Той воспринял это как добрый знак. В последнее время его сильно занимали знамения, хотя он никогда не считал себя суеверным. Возможно, католицизм матери, который он отверг в раннем возрасте, наконец отыскал выход. Вместо мифов о непорочном зачатии и пресуществлении <sup>9</sup> он находил смысл в небольших совпадениях – избегании стоячих лестниц и выполнении полузабытых ритуалов с рассыпанной солью. Все это началось недавно – всего год или два назад, – с женщины, с которой он собирался встретиться и на этот раз: ее звали Ивонн. Не то чтобы она была богобоязненной. Совсем нет. Но утешение, которое она принесла в его жизнь, принесло с собой и опасность его исчезновения. Вот что заставляло Тоя быть осторожным с лестницами и почтительно относиться к соли: страх потерять ее. С появлением в его жизни Ивонн у него появилась новая причина поддерживать дружеские отношения с судьбой.

Он познакомился с ней шесть лет назад. Тогда она работала секретарем в британском филиале немецкой химической корпорации. Жизнерадостная, симпатичная женщина лет тридцати пяти, чья официальность, как он догадался, скрывала изобильные юмор и теплоту. Его с самого начала влекло к ней, но природная нерешительность в подобных вопросах и значительная разница в возрасте удерживали от попыток заговорить. В конце концов Ивонн сломала лед между ними, комментируя мелочи в его внешности – недавнюю стрижку, новый галстук, – и таким образом делая свой интерес к нему совершенно очевидным. Как только сигнал был подан, Той предложил поужинать, и она согласилась. Так начались самые счастливые месяцы в жизни Тоя.

Он не был слишком эмоциональным человеком. Отсутствие крайностей в характере делало его полезной частью окружения Уайтхеда, и он лелеял свою сдержанность как пользующийся спросом товар, пока, к тому времени, когда встретил Ивонн, едва не уверился в истинности собственного рекламного лозунга. Именно она первая назвала его «холодной рыбой»; именно она научила (это был трудный урок) тому, как важно проявлять слабость если не перед всем миром, то, по крайней мере, перед близкими людьми. Это отняло у него много времени. Ему было пятьдесят три, когда они встретились, и новый образ мыслей шел вразрез с его натурой. Но она не сдавалась, и постепенно лед начал таять. Как только это случилось, он удивился, как вообще мог прожить жизнь, которую вел в течение предыдущих двадцати лет, жизнь раба человека, чье сострадание ничтожно, а эго чудовищно. Он видел глазами Ивонн жестокость Уайтхеда, его высокомерие и мифотворчество, и, хотя он надеялся, что его внешнее отношение к хозяину не изменилось, под примирением и смирением все чаще закипала обида, приближавшаяся к ненависти. Только теперь, по прошествии шести лет, Той мог размышлять о своих

---

<sup>8</sup> «Танец скелетов» (The Skeleton Dance) – наименование известного короткометражного мультфильма Диснея 1929 г., в котором четыре скелета пляшут на кладбище под музыку Сен-Санса и Грига. Мультфильм, в свою очередь, является переосмыслением средневековой традиции *dance macabre*, «пляски смерти»: аллегории бренности человеческого бытия.

<sup>9</sup> *Пресуществление* – богословский термин, объясняющий, в частности, смысл превращения в Таинстве Евхаристии хлеба и вина в Тело и Кровь Христа.

противоречивых чувствах к старику и даже сейчас обнаружил, что забывает худшее; по крайней мере, когда он был вне сферы влияния Ивонн. Находясь в доме и подчиняясь прихотям Уайтхеда, было трудно сохранить образ мыслей, которым она его наделила, увидеть священное чудовище таким, каким оно было на самом деле: монструозным, но далеко не священным.

Через двенадцать месяцев Той перевез Ивонн в дом, купленный для него Уайтхедом в Пимлико: это было убежище от мира «Корпорации Уайтхед», о котором старик никогда не спрашивал, место, где они с Ивонн могли разговаривать – или молчать – вместе; где он мог предаваться своей страсти к Шуберту, а она – писать письма своей семье, разбросанной по всему земному шару.

В тот вечер, вернувшись домой, он рассказал ей о человеке, называвшем созвездия в метро. Она нашла эту историю бессмысленной, не увидела в ней никакой романтики.

– Я просто подумал, что это странно, – сказал он.

– Полагаю, что так, – ответила она, ничуть не смутившись, и вернулась к приготовлению ужина. Через несколько слов она остановилась.

– Что случилось, Билли?

– А почему что-то должно случиться?

– Всё в порядке?

– Да.

– Неужели?

Она всегда быстро вынюхивала его секреты. Он сдался еще до того, как она по-настоящему взялась за дело; обман не стоил усилий. Он погладил свой сломанный нос – привычный жест, означающий нервозность. Потом сказал:

– Все рухнет. Все без остатка.

Его голос задрожал и сорвался. Когда стало ясно, что он не собирается вдаваться в подробности, она поставила тарелки и подошла к его стулу. Он почти испуганно поднял глаза, когда она коснулась его уха.

– О чем ты думаешь? – спросила она мягче, чем раньше.

Он взял ее за руку.

– Возможно, придет время... не так уж и много осталось... когда я попрошу тебя уйти со мной, – сказал он.

– Уйти?

– Просто встать и уйти.

– Куда?

– Это я еще не продумал. Мы просто уйдем. – Он замер и уставился на ее пальцы, которые были переплетены с его пальцами. – Ты пойдешь со мной? – наконец спросил он.

– Конечно.

– Не задавая вопросов?

– Что происходит, Билли?

– Я сказал: не задавая вопросов.

– Просто уйти?

– Просто уйти.

Она долго и пристально смотрела на него: он был совершенно измучен, бедняжка. Старый пердун, обосновавшийся в Оксфорде, совсем его заездил. Как же она ненавидела Уайтхеда, пусть и никогда с ним не встречалась.

– Да, конечно, я пойду, – ответила она.

Он молча кивнул. Ей показалось, что он сейчас заплачет.

– Когда же? – сказала она.

– Даже не знаю. – Он попытался улыбнуться, но улыбка выглядела неуместной. – Вероятно, в этом не будет необходимости. Но я думаю, что все рухнет, и, когда это произойдет, я не хочу, чтобы мы были там.

– Ты говоришь так, будто приближается конец света.

Он не ответил. Она не стала напирать, выпытывая ответы: он был слишком хрупким.

– Всего один вопрос, – отважилась Ивонн, подразумевая, что это для нее очень важно. – Ты что-то натворил, Билли? Я имею в виду, что-то незаконное? Дело в этом?

Его кадык дернулся вверх-вниз, когда он проглотил свое горе. Ей предстояло еще многому его научить – как дать волю своим чувствам. Он хотел этого: она видела, как много бурлит в его глазах. Но там, на данный момент, оно и останется. Она знала, что лучше не давить. Он только замкнется. И он нуждался в ее нетребовательном присутствии больше, чем она нуждалась в ответах.

– Все в порядке, – сказала она, – не надо мне ничего говорить, если не хочешь.

Он так крепко сжимал ее руку, что ей казалось, они никогда не расцепятся.

– О, Билли. Ничего страшного, – пробормотала она.

И он снова не ответил.

## 22

Старые места были почти такими же, какими Марти их помнил, но он чувствовал себя там призраком. На заваленных мусором проулках, где дрался и бегал мальчишкой, появились новые бойцы и, как он подозревал, более серьезные игры. Судя по страницам воскресных бульварных газет, чумазные десятилетки были нюхачами клея. Они вырастут бесправными, превратятся в торчков и толкачей; им на все и всех плевать, включая самих себя.

Конечно, он был подростком-преступником. Воровство здесь являлось обрядом посвящения. Но обычно это была ленивая, почти пассивная форма воровства: подкрасться к чему-нибудь и уйти с этим или уехать. Если кража выглядела слишком проблематичной, ну ее. Есть много других блестящих штучек, которые можно стырить. Это не было преступлением в том смысле, как он понял позже. Сорочий инстинкт в действии: хватай, что плохо лежит, никогда не причиняй большого зла, а если тебе не подфартило – удирай что есть мочи.

Но эти дети – на углу Нокс-стрит их было несколько – выглядели более смертоносной породой. Хотя они выросли в одной и той же тусклой среде, Марти и новички, с ее малочисленными и жалкими пародиями на зеленые насаждения, стенами с верхом из колючей проволоки и битого стекла, безжалостным бетоном, – хотя это у них общее, он знал, что им нечего сказать друг другу. Их отчаяние и апатия пугали его: он чувствовал за ними пустоту. Не то место, где сто́ит вырасти – как эта улица и любая из них. В каком-то смысле он был рад, что его мать умерла прежде, чем худшие перемены изуродовали окрестности.

Он добрался до номера двадцать шесть. Дом перекрасили. Во время одного из визитов Чармейн сказала, что Терри, один из ее шуринов, сделал это по ее просьбе пару лет назад, но Марти забыл, новый цвет – тоже, и после того, как он столько лет представлял себе его зеленым и белым, увиденное стало плевком в душу. Работу выполнили плохо, косметически: краска на подоконниках уже вздулась и начала облупляться. Сквозь стекло было видно, что кружевные занавески, которые он всегда ненавидел, заменили на штору, и она опущена. На подоконнике внутри стояла коллекция фарфоровых фигурок – свадебные подарки, собиравшие пыль, запертые в брошенном пространстве между шторой и стеклом.

У него все еще были ключи, но он не мог заставить себя ими воспользоваться. Кроме того, Чармейн, вероятно, сменила замок. Он нажал кнопку звонка. В доме не зазвенело, а Марти знал, что звонок слышно с улицы, так что он явно не работал. Он постучал костяшками пальцев в дверь.

С полминуты изнутри не доносилось ни звука. Затем наконец он услышал шаркающие шаги (по его предположению, на ней были сандалии без задников, от этого походка делалась неряшливой). Чармейн открыла дверь. Она была без макияжа, и нагота лица сделала реакцию на его появление еще более очевидной: Чармейн неприятно удивилась.

– Марти, – только и смогла вымолвить она. Ни приветливой улыбки, ни слез.

– Я мимо проходил, – сказал он, стараясь казаться беспечным. Но было очевидно, что он совершил тактическую ошибку с того момента, как она его увидела.

– Я думала, тебя не выпускают... – сказала она и тут же исправилась: – То есть ты знаешь, я думала, тебе нельзя выходить из поместья.

– Я попросил особого разрешения, – сказал он. – Можно мне войти или мы поговорим на пороге?

– Э-э... ну да. Конечно.

Он шагнул внутрь, и она закрыла за ним дверь. В узком коридоре возникла неловкая пауза. Их близость, казалось, требовала объятий, но он чувствовал, что не может, а она не хочет сделать этот жест. Она пошла на компромисс с явно искусственной улыбкой, сопровождаемой легким поцелуем в щеку.

– Прости, – сказала она, извиняясь непонятно за что, и повела его по коридору на кухню. – Я просто не ожидала тебя увидеть, вот и все. Заходи. Боюсь, здесь царит хаос.

В доме стоял затхлый запах, будто его требовалось хорошенько проветрить. Стирка и сушка на радиаторах делали атмосферу душной, как в сауне в Приюте.

– Садись, – сказала она, забирая с одного из кухонных стульев пакет с несортированными продуктами. – Я только закончу здесь.

На кухонном столе лежала вторая охапка грязного белья – гигиенично, как всегда, – и она принялась загружать его в стиральную машину, нервно болтая и не глядя ему в глаза, сосредоточившись на том, что было под рукой: полотенца, белье, блузки. Он не узнал ни одного предмета одежды и обнаружил, что роется в грязных вещах в поисках чего-то, в чем видел ее раньше. Если не шесть лет назад, то во время посещения тюрьмы. Но все было новым.

– ...Я просто не ожидала, что ты... – говорила она, закрывая машину и загружая в нее порошок. – Я была уверена, что ты позвонишь первым. И посмотри на меня: я похожа на мокрую тряпку. Боже, почему сегодня у меня столько дел...

Она закончила с машиной, закатала рукава свитера, спросила: «Кофе?» – и, не дожидаясь ответа, повернулась к чайнику, чтобы сварить напиток.

– Ты хорошо выглядишь, Марти, честное слово.

Откуда она знает? Едва взглянула на него в вихре бурной деятельности. А он... он не мог отвести от нее глаз. Сидел и смотрел, как она возле раковины выжимает тряпку, чтобы вытереть столешницу, и за шесть лет ничего не изменилось – по крайней мере, не всерьез, – только несколько морщинок прибавилось на их лицах. У него было чувство, похожее на панику, которое нужно было сдерживать из страха оказаться дураком.

Она приготовила ему кофе; посетовала на изменения в районе; поведала о том, как Терри выбирал краску для фасада; рассказала, сколько стоит проезд в метро от Майл-энда до Уондсворта; о том, как хорошо он выглядит – «Ты действительно так выглядишь, Марти, я не просто так говорю», – она говорила обо всем, кроме нужного. Это совсем не похоже на Чармейн и причиняло боль. Он знал, что ей тоже больно. Она просто тянула время рядом с ним, заполняя минуты пустой болтовней, пока он в отчаянии не сдался и не ушел.

– Послушай, – сказала она. – Мне нужно переодеться.

– Идешь гулять?

– Да.

– А-а.

– ...Если бы ты сказал, Марти, я бы освободила место. Почему ты не позвонил?

– Может, как-нибудь сходим куда-нибудь перекусить? – предложил он.

– Возможно.

Какая злобная уклончивость.

– ...Прямо сейчас я вся в делах.

– Я бы хотел поговорить с тобой. Ну, ты понимаешь – всерьез.

Она начинала нервничать: он хорошо знал признаки этого состояния. А она чувствовала его пристальный взгляд. Взяла кофейные кружки и отнесла их в раковину.

– Мне действительно надо бежать, – сказала Чармейн. – Сделай себе еще кофе, если хочешь. Банка в... ну, ты в курсе, где она. Тут осталось много твоих вещей, знаешь ли. Журналы по мотоциклам и прочее. Я все для тебя рассортирую. Прости. Мне нужно переодеться.

Она поспешила – определенно, помчалась, подумал он – в коридор и поднялась наверх. Он слышал, как она тяжело передвигается: она никогда не была легконогой. В ванной бежала вода. В туалете спустили воду. Он прошел из кухни в заднюю комнату. Пахло старыми сигаретами, а пепельница, стоявшая на подлокотнике нового дивана, была полна до краев. Он стоял в дверном проеме и смотрел на предметы в комнате, как смотрел на грязное белье, ища что-то знакомое. Такого было очень мало. Часы на стене – свадебный подарок и остались на том же месте. Стереосистема в углу была новой, модной модели, которую Терри, вероятно, приобрел для нее. Судя по пыли на крышке, ею редко пользовались, а коллекция пластинок, беспорядочно сложенных рядом, была такой же маленькой, как всегда. Интересно, среди них осталась копия песни Бадди Холли «True Love Ways»<sup>10</sup>? Они играли ее так часто, что пластинка, должно быть, истончилась; танцевали под нее вместе в этой самой комнате – не совсем танцевали, но использовали музыку как предлог, чтобы обнять друг друга, будто оправдания необходимы. Это была одна из тех любовных песен, которые заставляли его чувствовать себя романтичным и несчастным одновременно, словно каждая фраза заряжена утратой любви, которую она праздновала. Таковы лучшие песни о любви, и самые правдивые.

Не в силах оставаться в этой комнате, он поднялся наверх.

Она еще находилась в ванной. На двери не было замка: в детстве Чармейн заперли в ванной, и она испытывала ужас оттого, что это повторится, поэтому настаивала на отсутствии замков на всех внутренних дверях в доме. Нужно было насвистывать, сидя на унитазе, чтобы к тебе случайно не вошли. Он распахнул дверь. На ней были только трусики, и она, подняв руку, брила подмышку; поймала его взгляд в зеркале, затем вновь занялась своим делом.

– Не нужен мне кофе, – запинаясь, сказал он.

– Привык к дорогим сортам, да? – сказала она.

Ее тело было в нескольких футах от него, и он почувствовал притяжение. Он знал каждую родинку на ее спине, знал места, где прикосновение заставит ее смеяться. Такая фамильярность была своеобразным проявлением чувства собственности, он это ощущал; она владела им по тем же причинам, если бы воспользовалась своим правом. Он подошел к ней, положил кончики пальцев ей на поясницу и провел ими вверх по позвоночнику.

– Чармейн.

Она снова посмотрела на него в зеркало – первый непоколебимый взгляд, которым она одарила его с тех пор, как он появился в доме, – и он понял, что надежда на физическую близость между ними была напрасной.

– Я не свободна, Марти, – просто сказала она.

– Мы все еще женаты.

– Я не хочу, чтобы ты оставался. Прости.

Вот как она начала эту встречу: «Прости». Теперь хотела закончить точно так же, без искренних извинений, просто вежливо отмахнувшись.

---

<sup>10</sup> «Пути истинной любви» (англ.).

– Я так часто думал об этом, – сказал он.

– Я тоже, – ответила она. – Но я перестала думать об этом пять лет назад. Ничего хорошего из этого не выйдет – ты знаешь это не хуже меня.

Теперь его пальцы лежали на ее плече. Он был уверен, что в их соприкосновении был заряд, жужжащее возбуждение, которым обменивались ее плоть и его. Ее соски затвердели; возможно, от сквозняка с лестничной площадки, а возможно, от его прикосновения.

– Я бы хотела, чтобы ты ушел, – очень тихо сказала она, глядя в раковину. В ее голосе чувствовалась дрожь, которая легко могла перерасти в слезы. Он хотел, чтобы она заплакала, как бы это ни было стыдно. Если она заплачет, он поцелует ее, чтобы утешить, и утешение окрепнет, когда она смягчится, и они закончат в постели; он знал это. Вот почему она так упорно боролась, чтобы ничего не показать, зная сценарий так же хорошо, как и он, и решив не оставлять себя открытой для его привязанности.

– Пожалуйста, – повторила она с непрекращаемой решимостью. Его рука соскользнула с ее плеча. Между ними не было никакой искры, он все выдумал. Что было, то прошло.

– Может, как-нибудь в другой раз. – Он пробормотал клише, словно чувствуя на языке яд.

– Да, – ответила она, довольная тем, что в ее голосе прозвучала примирительная нотка, хотя и неубедительная. – Но сначала позвони мне.

– Провожать не надо.

## 23

Он бродил около часа, уворачиваясь от толп школьников, которые возвращались домой, затеявая по пути драки и задирая носы. Даже здесь были признаки весны. Природа едва ли могла быть щедрой в таких стесненных обстоятельствах, но она делала, что могла. В крошечных палисадниках и в оконных ящиках цвели цветы; несколько молодых деревьев, переживших вандализм, выпустили милые зеленые листья. Если они переживут несколько сезонов холода и злобы, то вырастут достаточно большими, чтобы птицы могли в них гнездиться. Ничего экзотического: в лучшем случае драчливые скворцы. Но деревья будут давать тень в разгар лета и насест для луны, которую можно будет заметить, выглянув из окна спальни однажды ночью. Он обнаружил, что полон таких неуместных мыслей – луна и скворцы, – как впервые влюбленный юноша. Возвращение было ошибкой; это жестокость по отношению к себе, причинившая боль и Чармейн. Бесполезно возвращаться и извиняться, это лишь усугубит ситуацию. Он позвонит ей, как она и предлагала, и пригласит на прощальный ужин. Тогда он скажет ей – или, может, соврет, – что готов расстаться навсегда и надеется видеть ее время от времени, и они попрощаются цивилизованно, без вражды, и она вернется к той жизни, которую сама для себя строит, а он вернется к своей. К Уайтхеду, к Карис. Да, к Карис.

Вдруг слезы нахлынули на него, как ярость, разрывая на куски. Он стоял посреди незнакомой улицы, ослепленный ими. Школьники толкали его, когда пробегали мимо, некоторые оборачивались, а другие, видя его страдания, обзывали на ходу. Это нелепо, сказал он себе, но непристойности не остановят поток слез. Поэтому он брел, прижав руки к лицу; зашел в переулок и оставался там, пока приступ не закончился. Какая-то его часть чувствовала себя отстраненной от всплеска эмоций. Она посмотрела, эта нетронутая часть, на его рыдающее «я» и покачала головой, презирая его слабость и смятение. Он терпеть не мог, когда мужчины плачут, это смущало. Но какой толк отрицать правду? Потерянность – вот что Марти чувствовал, он потерял и напуган. За это стоило поплакать.

Когда слезы иссякли, Марти почувствовал себя лучше, но его трясло. Он вытер лицо и стоял в глубине переулочка, пока не пришел в себя.

Было четыре сорок. Он уже побывал в Холборне и забрал клубнику; это его главное задание по приезде в город. Теперь, когда с делом покончено и он повидался с Чармейн, остаток



ночи раскинулся перед ним в ожидании удовольствий. Но Марти утратил бо`льшую часть энтузиазма по поводу ночных приключений. Через некоторое время пабы откроются, и он сможет выпить пару стаканчиков виски. Это поможет избавиться от судорог в животе. Может, снова разожжет его аппетит, но он сомневался в этом.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.